

Ф. Стариков

Год рождения 1960



Фёдор Стариков

Год рождения 1960

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69363193

SelfPub; 2023

Аннотация

Они родились в 1960-м. Через 15 лет после войны. Война прошла далеко от их городка, но она оставила след в судьбах всех его жителей. Всех без исключения. Они, как все мальчишки, мечтали о подвигах, и в то же время были уверены, что войн на свете больше не будет. Не должно быть. Жизнь рассудила иначе.

Содержание

Глава.1. Рождение. О войне.	4
Глава 2. Сон	12
Глава 3. Тятя	20
Глава 4. Баба Настя	29
Глава 5. Папа	39
Глава 6. Мама	47
Глава 7. Дядя Саша	59
Глава 9. Тетя Нина	71
Глава 10. 9 мая	87
Глава 11. Компания	95
Глава 12. Поляна	101
Глава 13. «Ребятишкам хотелось под танки»	111
Глава 14. Толька Белкин	118
Глава 15. Толька Белкин (2)	135
Глава 16. Андрей Петровский	142
Глава 17. Андрей Петровский (2).	153
Глава 18. Лёва Гурович	164
Глава 19. Лёва Гурович (2)	171
Глава 20. Командировка.	179
Эпилог	186

Фёдор Стариков

Год рождения 1960

Глава.1. Рождение. О войне.

Фёдор родился в 1960 году.

Дом их стоял на окраине города, на границе кирпичных пятиэтажек и так называемого «частного сектора» – разномастных деревянных домишек с небольшими земельными участками. Собственно в момент рождения Фёдор числился проживающим в комнате коммунальной квартиры сталинского трехэтажного дома в центре города. Но он этого не помнил. Ему не было еще года, как они переехали в свой дом. Хрущевским указом по всей стране раздавали участки под строительство, его отец получил участок, перевез из деревни разобрannую родительскую избу, вернее пол-избы, пристроил крыльцо, веранду, двор, завел какую-никакую скотину в виде поросенка и нескольких курей, и они обрели, как сейчас принято называть, «родовое гнездо». Жизнь, как сказал вроде кто-то из древних философов, идет по спирали. Видимо спирали бывают большие и маленькие. На месте их дома снова стоит серая пятиэтажка, правда уже не оштукатуренная «сталинская» и не кирпичная «хрущевская», а «брежневская», из серых небритых панелей, только возле

первого подъезда еще остались когда-то посаженные отцом вдоль оградки их дома осиротевшие, нестриженные как беспризорники тополя и запыленные рябины. И кто-то похныкивает в коляске возле этого подъезда, и может быть, его отец тоже строит «свой» дом, если хватает средств. Сейчас снова стало модным жить в «своем» доме. И этот кто-то, который сейчас в коляске, вырастет и долгое время будет думать, что вот у них то все будет иное, все будет по-другому, совсем по-другому, чем до них. Потому что это будет другое время, другие люди, другие они. Нет, брат, все в мире повторяется. И ты это тоже поймешь, в какой-то момент почувствуешь, что все, что происходит с тобой, уже с кем-то когда-то было.

Странный у них был городок, а может, просто странное было время. Густая, забористая смесь старого и нового, старого, уже во многом для молодых непонятного, нового, для стариков еще совсем непривычного. В старой части города, которой было уже за пять веков, стояли церкви, в которых не велись службы, а были то пивзавод, то ателье, то часовая и сапожная мастерская, то отдел живой природы городского музея, то какой-то отдел горсовета. Но при этом, бывая в центре с родителями, Фёдор то и дело видел крестящихся на этот пивзавод или ателье старушек, а иногда вовсе и не старушек, а вполне зрелых мужиков и женщин, даже порой вполне «партийного» вида. А когда надо было сослаться на что-то, горожане говорили – так это возле Троицкого, или

через дом от Параскевы, да это напротив Вознесенской. Та же Федыкина крестная, тетя Рая Матанцева жила, как выражалась мать, на Красном возле Предтечи. Что означает слово Предтеча Фёдор понятия не имел, но прекрасно знал, что тетя Рая живет возле красивой стройной, когда-то одетой в белое с красными узорами, а теперь обшарпанной, как будто застиранной церкви на Красном поселке. Только бывший мужской монастырь монастырем никто не называл, потому что там была тюрьма. Видимо эти грешные пределы господь уже покинул.

В одной из бывших церквушек, кажется, ее называли церковь Преображенья Господня, располагался городской загс. И, притом, что регистрацию можно было провести в красивых с колоннами залах любого из дворцов или домов культуры, большинство уже давно неверующих и ничего не понимающих в религии молодоженов все-таки стремились зарегистрировать свой союз под облупленными сводчатыми потолками этого загса. Видимо, где-то в подсознании лелея надежду, что может тот непонятный Господь, которому по утрам и вечерам все еще били поклоны и что-то шептали их «тёмные» бабушки, на самом деле существует и благословит их союз, раз они заключают его под этими церковными сводами. Вера в это небесное благословение была крайне живуча, и даже многие годы спустя Фёдор слышал в разговорах земляков, обсуждавших чей-то развод – Да вот зарегистрировались бы в Преображенке, то все бы было ладом...

Время в году тогда тоже делилось странным образом, непонятной смесью советских праздников и дат православного календаря. Притом, что все понимали, что значит «на майские» или «на ноябрьские», и с какими событиями это связано, но в ходу были и Рождество, и Пасха, и Троица, и Ильин и Петров день. И люди, даже не представляя, какие такие исторические события стояли за этими уже, на первый взгляд, привычными, обыденными названиями, прекрасно ориентировались в этих временных зарубках. Все знали, когда будет Семик, и что все семьями отправятся на кладбище поминать ушедших родных, слово Покров у всех ассоциировалось с первым снегом, покрывшим подмерзающую землю, а вовсе не с какой-то Богородицей. А в окрестных совхозах и колхозах сельскохозяйственные работы кажется все еще определялись датами церковного календаря, когда что сеять, когда убирать, когда выходить на сенокос – на «Степана» или на «Евсея», или на тот или другой Спас. Даже тех же порсят в домашних хозяйствах забивали на Николу Зимнего, кажется это где-то в декабре. И к примеру, Фёдор знал, что если кого-то у родителей на заводе отправляют в отпуск в период после ноябрьских и до того же «Никола», значит этот человек точно чем-то проштрафился.

О войне. После окончания войны до его, Фёдора, дня рождения прошло пятнадцать лет. Все то время с момента осознания того, что он есть на белом свете, до отъезда в институт, то есть пока он жил дома, ему всегда казалось, что это

время, в котором он живет сейчас и война – это так далеко, так далеко друг от друга, что они как бы и не соприкасаются вовсе, эти два временных отрезка – война и его жизнь, жизнь его друзей и ровесников. Хотя рядом вроде бы ходили, спали, ели, работали, любили, ругались, грустили и радовались люди, которые эту войну пережили от и до, все четыре года от ее начала и до конца. И его родители, и дед, и бабушки и соседи, и родители его друзей, и их деды и бабки – все они. Все они были свидетелями того времени, которое Фёдору и его друзьям и ровесникам казалось страшно далеким.

Война для всех была своего рода временным разделом. О каком бы событии кто бы не говорил, его сроки обычно отмеряли от войны. Если не было необходимости в большой точности – говорили – «до войны», «после войны», «во время войны». Если была необходимость, уточняли – «да, года за три до войны», «на третьем году», «аккурат годков пять опосля».

Люди даже все еще донашивали вещи времен войны – и пиджаки, и пальто, и платья, сшитые из трофейного «шифона», а фронтовиков, занятых по хозяйству, порой еще можно было увидеть в застиранных гимнастерках и галифе. А некоторые из них еще носили фронтовые «сувениры» в себе... Да, так и говорили – «ношу в себе..» – и про пули, и про осколки.

Вообще-то, если быть точным, Фёдор, даже когда еще не ходил в школу, уже знал, что было две войны – наших с нем-

цами-фашистами и красных с белыми. Правда, в первом случае у них в городишке во время игр «в войну» использовали только слово «фашисты». Наверно, это шло от родителей, и точно не было случайным. В городе жило много, даже очень много немцев, сосланных сюда во время войны из Поволжья в так называемую «трудармию». Они, также как все жители, все эти военные годы работали рядом с русскими, татарами, коми-пермяками, украинцами, делали ту же работу, так же недоедали, также мерзли. В общем, жили одной жизнью. И здесь немцы не стеснялись и не опасались говорить о своей национальности. И их уважали за трудолюбие, ответственность и мастеровитость. И, слава Богу, здесь на Урале, если у кого-то погиб кто-то из родных, то в боях на фронте, а не был сожжен, расстрелян или повешен. И какая-то природная деликатность не позволяла людям, когда речь шла о войне, называть врагов немцами. Все говорили – фашисты!

Впрочем, нет, конечно, не все. Были еще фронтовики. С ними бывало по-разному. Но в какой-то момент Фёдор, став постарше, заметил, что те фронтовики, которые дошли до Германии, до Европы, относились к немцам как-то помягче, снисходительней что ли, и даже в разговорах называли их чаще не фашистами, а звучащим, в общем-то, довольно беззлобно словом «фрицы».

По поводу немцев интересную историю Фёдору рассказал брат. В середине 80-х его, тогда главного инженера автоколонны, с несколькими автомобилями, группой шоферов

и механиков, поездом на платформах отправили в Курскую область на уборку зерновых. А почему-то в автопредприятиях на Урале, эту особенность Фёдор отметил уже позже, всегда работало много местных немцев. Когда брат, уже по приезде, подал список приехавших с ним председателю колхоза, в который их распределили, тот, поначалу обрадованный, заглянув в листок, вдруг помрачнел. Прочитал весь список, все фамилии до конца, потом долго мерил усталыми шагами кабинет из угла в угол и, наконец, спросил: «Слушай, а у тебя то как фамилия?» Услышав «Мельников», облегченно вздохнул «Ну, Слава те Господи, русский». Брат пошутил:

– А может и не русский, а пермяк... У нас там какого народа только нет... Всякой крови понаmeshано.

Председатель шутку не воспринял, думал о своем:

– Слушай, пермяк, так тут у тебя в списке то что, немцы что ли?

– Ну да – говорит брат, – у нас их много, сослали с Поволжья во время войны.

Потом, рассказывает, председатель еще какое-то время ходил, чесал затылок, и, наконец, выдал:

– Слушай, а может их как-нибудь под русскими фамилиями записать? Понимаешь, не любят у нас немцев. Половину деревень в округе во время оккупации сожгли....

Такая вот история. Чем все закончилось, брат то ли не рассказал, то ли Фёдор уже запомнил.

Ну а в их в городке слово немец никакого негативного от-

тенка не имело. К слову, был еще один любопытный словесный парадокс. Если в их детских играх с одной стороны были фашисты, с другой всегда были «наши», то в играх про гражданскую войну все почему-то всегда делились только на красных и белых. Красных «нашими» никто никогда не называл. Почему? В чем причина? Может какое-то генетическое «нельзя» не позволяло однозначно решить кто же из двух сторон, белые или красные, это наши? Кто знает? Но было именно так.

А они играли в войну постоянно. Конечно, еще гоняли и мяч, и шайбу, играли в банки и лапту, и еще много во что. Но больше всего они играли в войну. Мастерили деревянные сабли и пистолеты, автоматы и пулеметы, и играли в войну. Они храбро ходили в атаку, десятками косили врагов и красиво умирали по несколько раз на дню, столько же раз без труда воскресая. И ни у кого даже мысли не возникало, что когда-нибудь это может произойти с ними на самом деле, и что если это произойдет, то никто уже не встанет, не воскреснет, счищая грязь со штанов со словами «Ну все, попадет, только день как мать постирала...». Что их просто не станет. Что жизнь на самом деле одна.

Просто они все были уверены, что эта война была последняя и больше войн никогда не будет.

Глава 2. Сон

Он еще не открыл глаза, но понял, что проснулся. Он уже научился просыпаться в таких случаях. Привык. Как ни как, это повторяется уже двадцать лет. Ему начинает сниться какой-то сон, в котором нет конца. Логического конца. Как лента Мёбиуса. Вроде бы есть какой-то сюжет, смысл, но в какой-то момент все вдруг, вернее не вдруг, а как-то незаметно вновь начинается сначала. Странная вещь. Вроде бы сон – это бессознательное состояние. Но даже во сне к третьему-четвертому повтору Фёдор начинал понимать, что если не проснуться, то это никогда не закончится и прервать эту канитель можно только тем, что проснуться. Самое главное потом не торопиться заснуть вновь. Иначе тот же сюжет может вернуться. Надо полежать, подумать о чем-нибудь другом, лучше о приятном, может помечтать. Благо пока помечтать есть о чем. Еще так много в жизни может свершиться. Или не свершиться? Или уже немного? Еще можно пойти на кухню – налить рюмочку коньяка или бокальчик вина, а потом лежать и ощущать, как тепло медленно растекается по телу и понемногу растворяет эти назойливые сновидения.

Этот сон последнее время снился ему все чаще и чаще. Начинаясь всегда с одного и того же момента. Старенький облупленный речной трамвайчик хриплым пропитым голосом давал сирену и начинал подваливать к крутому камско-

му берегу. Матрос, по всему его облику, походке, выражению лица, явно бывший уголовник, держался за рычаг лебедки, готовый опустить трап. Фёдор стоял на верхней палубе и смотрел вверх на гору, где виднелись тетеринские избы. На берегу стояли и сидели на бревнах плавника немногочисленные встречающие и отъезжающие. Различить их было легко – первые налегке, вторые с сумками, котомками и рюкзаками. Картина, виденная им в детстве не раз, не два и не один десяток раз. Только во сне все это происходило с одним очень заметным отличием. Вроде бы работал движок трамвайчика, скрипела лебедка, текла за бортом темная камская вода, летали над водой чайки, ходили по берегу люди, но ничего этого не было слышно. Даже трамвайную сирену он не слышал, а ощущал. А люди на палубе и берегу просто молчали. И совсем не открывали рты. Не было слышно даже обычно громкоголосых детей.

Потом все было как обычно, как много-много раз. Он сходил с трамвайчика, закидывал на одно плечо полупустой брезентовый рюкзак. «Котомку», как говорили бабушка с дедушкой. Ему очень нравилось слово «котомка». Он вообще обожал все эти слова, оканчивающиеся на «ка» – котомка, тропинка, речка, удочка ... а еще – мамина косынка, папина колючая суконка, бабушкины похлебка и шанежка, тятины стамеска и столярка ... От этих ласковых слов пахло печным теплом, свежеиспеченным ржаным хлебом и сосновыми стружками ...

Когда он слышал «Тетерино», у него всегда возникало в голове – «глухая тетеря». Так они в детстве обзывали друг друга, когда кто-нибудь что-то вдруг не расслышал. Только лет в четырнадцать, Тятя, который на тетеревов и глухарей охотился не раз, объяснил ему, откуда это произошло – «глухая тетеря». Оказывается тетерев, когда токует, ничего не слышит и к нему можно без опаски приближаться. Тетерино. Почему Тетерино? Верно, где то в соседних с деревней лесах когда-то было богато на тетеревов.

От узкой пологой береговой полосы метров в семь-восемь шириной сразу начинался крутой подъем вверх, к деревне. Склон порос травой, но по натопанной тропинке было видно, что к самой его поверхности подступала жирная красная глина. Подъем и так был непростой, особенно для стариков и малых детей, но когда проходили дожди, эта задача порой превращалась в почти непреодолимую проблему. Пару-тройку раз, наверное, лет в пять-шесть, и он съезжал по мокрой глине и траве чуть ли не полсклона, обдирал колени, ладони и набирался страху полные штаны. Нет, конечно, это так образно сказано, в буквальном смысле такого позора не было ни разу.

Когда он стал постарше, ему наоборот стало нравиться подниматься по этой тропинке. Возле нее на разных уровнях было несколько ровных площадочек, на которых народ, кто постарше, и детишки, обычно делали передышку. На одной из таких площадок какой-то доброй душой была установлена

грубо, но прочно, сбитая из бревен скамейка. Всякий раз на каждой из этих площадок он останавливался, оборачивался и смотрел на Каму, на сочного зеленого цвета луга на другом, пологом, берегу, на постепенно вырастающие из-за горизонта солевые терриконы, трубы и крыши заводских цехов. Самого города видно не было, жилые дома были дальше и ниже. Ему нравилось, как с каждой площадкой вид менялся, обзор становился все шире, а горизонт уходил все дальше и дальше. Ты поднялся на десять метров, а горизонт ушел на километры. В этом было что-то завораживающее! Мир вырастал на глазах.

Вся Тетерина (или всё-таки Тетерино?), он так до сих пор и не знал, как правильно, состояла из одной улицы, тянувшейся по гребню крутого берега вдоль Камы. Тропинка с берега выходила прямо на центральный и, по сути, единственный деревенский перекресток. После перекрестка еще немного надо было идти вдоль огородов, тянувшихся за избами. В крайнем окне угловой избы, сколько он себя помнит, всегда сидела сухонькая сморщенная старушка. Сидела, когда ему было пять лет, когда было десять, пятнадцать, двадцать лет и было ощущение, что она совсем не меняется. В этом месте Фёдору всегда приходило в голову слово «вечность». Наверное, еще потому, что, сколько он не пытался взглянуть в это окно, он никогда не мог встретиться со старушкой глазами. Казалось, что она смотрела не на улицу, а куда-то в мир вообще и на ум опять приходило слово «вечность».

За деревней начиналось поле. По сторонам вдоль дороги довольно далеко друг от друга доживали свой век разные колхозные постройки – сараи, порушенная кузня, бывшая весовая, силосные ямы. Часть их останков прикрывала вездесущая моложавого вида крапива. По этому полю много лет уходило и возвращалось в деревню коровье стадо, и крапива на унавоженной почве росла крупная и сочная.

Дорогу от Тетериной до Пузанов он знал наизусть. 10 километров. Раньше весь путь делился на конкретные отрезки. Через 4 километра от Тетериной – Вавилова. Маленькая, с дюжину домов, деревенька с подступающим со всех сторон вплотную к огородным изгородям лесом. Почва здесь была песчаная, вода после дождей уходила быстро, грязи и луж не было, и потому деревенька была чистенькая и светлая. На краю Вавиловой стоял колодец с редким в этих местах подъемным механизмом – «журавлем». Остановиться, и попить здесь водицы было обязательным ритуалом для всех путников. Настолько вкусна была местная очищенная песчаниками вода.

Еще километра через два с половиной дорогу пересекала, тут уж никуда не деться от тавтологии, Половинная – малюсенькая речушка, скорее ручей, который на самой дороге почему-то разливался в маленькое темное озеро. От этого озера всегда веяло какой-то мрачной тайной и опасностью. Езженное и переезженное тракторами, полуторками и телегами тысячи раз, оно все равно было не изученным, как «черная

дыра», потому что дно его менялось по непонятным, никому не известным законам. Там, где неделю назад люди проходили вброд по колено и спокойно проезжала телега, вдруг оказывалась яма по грудь, а то и глубже, и брод приходилось искать заново.

Километра через три после Половинной лес заканчивался и, уже на берегу Лысьвы, открывалась Порошина. Всего-то семь домов, но с двумя прямо перпендикулярными улочками. По одной дорога уходила дальше – в Пегушину, а вторая, не торопясь, спускалась к речке и выходила на лавы – самодельные мостки, главной функцией которых была собственно не переправа через речку, а установка «морд» для ловли разнообразной лысьвенской рыбешки. Но речка здесь была неглубокая, тут же чуть ниже лав был всем известный брод с ровным и плотным песчаным дном и глубиной, если не было дождей, не выше коленей в самых глубоких местах. Этим бродом чаще всего Фёдор и пользовался, наслаждаясь ласковыми прохладными объятиями и тихим говором обтекающей ноги лысьвенской воды.

Из Порошиной уже было видно конечный пункт путешествия – Тятина деревня с этим смешным названием Пузаны. Деревня стояла километрах в двух на возвышающемся над округой холме, высоту которого еще больше подчеркивали три огромных кедра, примостившихся на самой его макушке. Когда над Лысьвой по утрам стелился туман, скрывавший и саму реку, притулившиеся к ней деревни и окрестные лу-

га и леса, казалось, что Пузаны висят в воздухе над облаками. Не «град небесный», конечно, но «деревенька небесная» точно. Только люди в ней жили самые обычные, с обычными человеческими грехами и достоинствами.

Таким раньше для Фёдора был этот путь. А в этом сне на путь до деревни как будто накладывалось еще одно какое-то непонятное измерение. Во сне в каждом из этих таких знакомых и значимых для него мест он встречал своих пацанов. Всех троих. За километр до Вавиловой, на обочине, возле старого поваленного уже потемневшего соснового ствола сидел Толян. Он сидел по-зэковски, на корточках. Такую манеру сидеть Фёдор видел не раз. С зеками, бывшими и настоящими, в их городе было богато. Только в черте города было три зоны плюс тюрьма в старом монастыре. Толян сидел на корточках и курил тоже по-зэковски, в кулачок. Фёдор ловил ноздрями табачный дым и хотя сам он, в общем-то, почти не курил (кроме как на войне) ему каждый раз приходила в голову мысль – «Прима». Это были их первые сигареты. Там во сне они с Толяном почему то не разговаривали, не здоровались, а просто, молча, кивали друг другу. Фёдор проходил дальше, а когда метров через пятьдесят оборачивался, позади уже не было ни Толяна, ни дымка от его сигареты.

На Половинной, там, где еще одна добрая душа, что бы не говорили, в мире много добрых душ, соорудила для уставших путников скамеечку и дощатый навес, его встречал Андрей. В руках у Андрея, конечно, была книга. На мгновение

он отрывался от нее, также как Толян, молча, кивал Фёдорову и снова опускал взгляд на страницы. После того как Фёдор переправлялся через Половинную, он снова оборачивался, но на скамейке уже не было никого.

В Порошиной возле колодца, опершись на сделанную из ошкуренных жердей огородную изгородь, стоял Лёва и щелкал семечки. «Но пасаран»! Лева беззвучно подымал к голове сжатый кулак. Этому жесту его научил Фёдор, после того как прочитал какую-то книжку про гражданскую войну в Испании. Приветствие это Лёве очень нравилось и он нередко, при встречах во дворе, игнорировал общепринятое мужское рукопожатие десятилетних «мужичков» и приветствовал всех разом поднятием сжатого кулака и возгласом – «Но пасаран, пацаны!»

Еще пройдя метров пятьдесят за околицу, Фёдор снова оглядывался. Левы уже не было. Спрятаться особо было некуда, поблизости ни кустов, ни сараев. Как и Толян, и Андрюха, Лева просто исчезал. Ну понятно, это же сон!

Оставалось два километра до конца пути. До Пузанов. До Тяти. Совсем немного и они будут вместе. Оставалось совсем немного. Но здесь сон всегда обрывался.

Глава 3. Тятя

Красота уходит из этого мира. Исчезает. Настоящая красота, естественная. Ее может создавать только природа. Большая часть того, что создано человеком уродливо и неестественно. Людей восхищают строгая симметрия домов, но разве их можно сравнить с неровными изгибами холмов и берегов рек. Людей могут восхищать ровные линии аллей, но разве можно их сравнить с затейливо извивающимися руслами рек и ручьев, где за каждым поворотом всегда ждет нигде больше в мире неповторимая картина.

Может быть, только в гармонии музыки человек ближе всего подошел к природе. Но и в музыке люди создали так много звукового хлама, звукового мусора, что за его горами уже не разглядеть, вернее, не услышать того, что действительно трогает душу.

Эти мысли пришли в голову Федору, когда он остановился у придорожного сельского магазинчика, расположившегося в старинном, по-видимому, бывшем купеческом доме. Дом был двухэтажный, кирпичный первый этаж, бревенчатый второй. Раньше такие дома были почти во всех старинных уральских селах. На первом этаже обычно располагалась лавка, а на втором жили их хозяева. Сейчас домов этих почти не осталось, они одряхлели и разрушились, и этот, в который зашел Федор, был одним из последних свидетелей то-

го времени.

Рамы в окнах магазинчика тоже были старые, деревянные. Пазы рам промерзли, красиво подернувшись узорчатой бахромой инея. А стекла окон были расписаны морозными узорами. Красота уходит из этого мира. Исчезает. На стеклопакетах морозных узоров уже не бывает.

Зимой в окна их дома ставили вторые рамы. И эти морозные узоры почему-то были только на внутренних рамах. Внешние оставались чистыми. В детстве Фёдор никак не мог придумать, как эти узоры описать, какими словами. Лет в двенадцать, может позже, он прочитал какую-то историческую книжку, где наконец-то встретил то слово, которое, как ему казалось, идеально подходит для описания этих морозных картин. Вензеля! Мороз оставлял на окнах свои вензеля!

Окно их с братом маленькой комнаты было с фасада и из него было видно всех, кто подходил к воротам или проходил мимо дома по улице. Но зимой стекло затягивало этими «морозными вензелями» и чтобы что-то разглядеть, нужно было сначала теплым дыханием протаять маленькую дырочку, маленькое «окошко в мир». Процесс долгий и занимательный. Сначала надо было подержать воздух в себе, чтобы он согрелся, потом медленно выдыхать его в одну точку, затем пальцем убирать подтаявшую ледяную корочку. Конечно, был еще другой вариант. Сбегать на кухню, взять ложку, нагреть ее в горячей воде или у печки и приложить к стеклу.

Это получалось быстрее, но все таинство процесса исчезало напрочь.

Оконные рамы в их доме были сделаны руками Тяти.

Мобильные телефоны, или что-то подобное им, тогда были только в книжках, как их называли, про фантастику. Собственно, и обычные то телефоны были далеко не у всех. А в частных домах их не было практически нигде. Как мама с папой узнавали, что Тятя приедет именно в этот день, для Федора всегда было тайной. Хотя, с возрастом все, конечно становилось понятным. Кто-то из знакомых ездил на выходные в деревню и привозил оттуда вести. А может о приезде договаривались еще осенью, в последнее посещение деревни.

Тятю Тятей звали все, и его дети, и внуки, и правнуки. Сколько лет было Фёдору? Может пять, может четыре. Факт тот, что он уже помнил и себя, и все, что с ним тогда происходило. Они сидели на крыльце их дома вшестером. Или даже всемером? Шесть двоюродных братьев. Возможно, еще была самая старшая среди них двоюродная сестра Галя. Федор заявил:

– А мы в воскресенье поедem в деревню, к Тяте.

– Какой он тебе тятя? Он нам всем дед – одернул его Вовка, старший из двоюродных братьев.

– Нет, Тятя! Мама его всегда зовет Тятя! Значит он Тятя!

Значения слова он тогда не знал. Странно, но спорить больше никто не стал. Не возражал и сам Тятя. И всегда от-

кликался, кто бы его так не звал.

Зимой Тятя с бабушкой Ульяной приезжали в город на розвальнях, застеленных душистым сеном. Лошади время от времени менялись. Но Фёдор помнил всех. Сначала это была красивая и стройная, серая «в яблоках», кобыла Волга. Потом были два пожилых мерина, они чередовались друг с другом, Тятя приезжал то на одном, то на другом. У них были смешные имена – Фомка и Еремка. Наверное, они были братьями. Последним тоже был мерин, смешно, но он был, как в том устойчивом выражении, сивым. Сивый мерин по прозвищу Санчик.

Сани ставили к забору возле дровяника, с Санчика снимали упряжь, на спину накидывали теплую стеганую накидку, а перед мордой ставили ведро с водой и торбу с овсом или клали охапку сена. Федор с братом, конечно, уже были тут. Разумеется, они знали все лошадиные лакомства, в эти тонкости их посвятил Тятя. В первую очередь это краюха черного хлеба, обильно посыпанная солью, а еще морковка, капустаные листья и кочерыжки. Санчик принимал все с благодарностью, он негромко фыркал, выдыхая через ноздри свое лошадиное «спасибо». Так это фыркание называл Тятя. Еду из рук Санчик брал одними губами, осторожно и вежливо. Хотя на самом деле он мог быть и грубоватым и даже решительным. Когда однажды, в очередной Тятин приезд, к ним во двор забежал соседский довольно хулиганистый и наглый пес Бобик, любивший полаять на тех, кто, как он чувствовал,

несколько его опасался, и начал в очередной раз облаивать и Фёдора, и забившегося под ворота кота Ваську и самого Санчика, мерин возмутился, сочно, по своему, по-лошадинному, выругался, показав крепкие и мощные желтоватые зубы, и подняв копыто угрожающе шагнул в сторону Бобика. Этого хватило для того, чтобы пёс, поджав хвост, ни слова не говоря, точнее ни разу больше не гавкнув, ретировался. Через минуту из дома вышел Тятя, верно и он слышал и лай и Санчиково ржание. Самое интересное, что о том, что случилось, он сначала спросил не у Фёдора, а у мерина: «Ну что, углан, кому ты тут опять разнос устраиваешь?».

Федор с братом очень любили Тятины зимние приезды. Накрывался стол со всеми домашними разносолами, доставалась припасенная поллитровка, а то и не одна. Бабушка Ульяна, Тятина жена, доставала из привезенного, самого по себе вкусно пахнущего берестяного туеса уже малость подзамерзшие ржаные картофельные шанежки, в городе почему-то таких не делали. Они разогревали шанежки в еще теплой печи, потом забирались на эту же печь и оттуда слушали эти длинные застольные разговоры – сначала про работу, про хозяйство, потом про родных, про знакомых, потом, когда бутылка была уже изрядно почата, шли воспоминания. Это была самая интересная часть этих застольных бесед.

И опять странная вещь, об этом Фёдор задумался много лет спустя, в этих застольных разговорах практически не говорили о войне. Да, время того или иного события, которое

вспоминали, если не требовалось дополнительной точности, определялось предельно просто – до войны, во время войны, после войны, но о самой войне не говорили совсем. Хотя, понятное дело, коснулась она всех, кто был за столом, кого в тылу, кого на фронте.

Тятю забрали на фронт вскоре после начала войны, в июле сорок первого. О том, где он воевал, как он воевал, что там с ним было, он не рассказывал нигде и никогда. В декабре сорок первого он уже был дома, после двух месяцев в госпитале по случаю «ранения брюшной полости, верхних конечностей и контузии». Это Федор прочитал в ветхой госпитальной справке, которую обнаружил, будучи в деревне, копаясь из любопытства, пока Тяти с бабушкой не было дома, среди разных Тятиных бумажек, хранившихся на шкафу в старой серой от времени картонной папочке с веревочными завязками. Но, как потом рассказывала мама, дома после госпиталя Тятя был недолго, его отправили в Нижний Тагил охранять лагеря с пленными немцами, которых он и сторожил до 1948 года. Когда он вернулся, все его оставшиеся в живых односельчане-фронтовики уже давно были дома.

– Ну что, Фёдор, поди всех пленных фрицев извел, чтобы домой то воротиться? – так шутил бывший сапёр однорукий дядя Ваня Тимин, живший через избу.

Пальцы правой Тятиной руки в сорок первом были перебиты, но со временем он приноровился и научился делать этой рукой практически все, что умел ещё до войны. А вла-

дел он мастерски столярным делом, шил нехитрые сапоги и другую деревенскую обувь, а еще играл на гармошке. Как он это всё делал здоровыми руками, Федору, естественно, видеть не пришлось, он видел только как странно Тятя обхватывал рубанок, как непонятым образом ходили, именно ходили, а не бегали, как принято говорить, его пальцы по кнопкам гармони. Да, он научился всему заново и делал все очень хорошо. Почти в каждой избе и в их деревне, и в соседних, стояли сделанные им буфеты и комоды, а в окнах изб изготовленные им рамы. А на праздники Тятя приходил на их деревенскую поляну, «под кедры», и наигрывал там молодежи допоздна всякие вальсы и кадрили. Только на следующий день бабка доставала свою волшебную, черную, дегтем пахнущую мазь и мазала Тяте опухшие негнущиеся суставы – «Ну что, замузычился, старый?».

Тятя умер в 72 года зимой 1972-го. Ровесник века. Просто не проснулся. Было воскресенье, мама с утра растапливала печь, как то всё у нее в это день получалось неловко. Поленья падали с рук, из чугунок через край на пол лилась вода, потом она порезала палец, когда чистила картошку. Перед обедом в ворота постучали. Через протаявшую в окошке дырочку Федор увидел перед воротами лошадь и сани. Лошадь он не узнал, это был не Санчик. В дом вошел Миша, самый младший мамин брат, который после армии жил с Тятей и бабушкой в деревне. Он еще не успел произнести ни слова, как мама опустилась на табуретку и вдруг завывала, не запла-

кала, не зарыдала, а именно завывала, завывала так, что Фёдору стало так страшно, как никогда не бывало до этого.

– Да, Маша – Миша тоже сел и заплакал – Ушел Тятя...!

Потом была долгая зимняя дорога – через замерзшую Каму, потом через приземистые закамские ельники и спрятавшиеся между ельниками поля. День был морозный, цокот копыт отдавался барабанами в гулком замерзшем воздухе. Хвост и грива уставшего безымянного мерина, на котором приехал Миша, покрылись инеем, на морде у мерина висели сосульки, дышал он тяжело и хрипло. Но он видимо, понимал, что без причины его бы не понужали, и старался по накатанному санями зимнику идти какой-никакой рысью. Пятерых везти было тяжело, отец и Миша шли рядом, а Федор с братом, время от времени вылезали из саней из-под старого тяжелого тулупа и бежали сколько могли, держась за оглобли упряжи. Мать, сидевшая в санях, молчала всю дорогу.

Тятя лежал в струганном деревянном гробу в красном углу под образами. Гроб этот Федору с братом был знаком. Тятя изготовил его уже давно, он уже несколько лет лежал на полатах в летней избе и на вопрос для кого он, Тятя всегда отшучивался:

– А для того, кто туда еще не спешит....

На удивление Федора и бабушка, и деревенские, собравшиеся в избе, как будто сильно не горевали, были негромки, спокойны и обстоятельны. Это настроение как будто передалось его маме, она не рыдала, не кричала, только села у

тятиного изголовья, положила ладонь на его скрещенные на груди руки и замолчала. Вернее, видно было по ее шевелящимся губам, что она что-то не переставая говорила, но что она говорила не слышал в избе никто. Федору вдруг захотелось зареветь, громко во весь голос, прямо здесь и сейчас, но он сумел сдержать себя, выскочил на улицу, забрался в сани под тулуп и там под тулупом, долго и тихо плакал, благо его никто не искал.

Когда он вернулся в избу, мама продолжала сидеть у тятиного изголовья. Деревенские, сидевшие на расставленных вдоль стены скамьях, тихо переговаривались.

В гробу Тятя лежал в гимнастерке. Старый солдат. Нет, не солдат, он был мужик, крестьянин, не по своей воле, а волею судьбы ставший солдатом.

Глава 4. Баба Настя

Со временем, нет, не со временем, только с возрастом начинаешь понимать, что по-настоящему счастливым человек бывает только в детстве. Когда, пусть даже и ненадолго, все твое существо до последней клеточки заполнено только ощущением доброты, красоты, какой-то абсолютной гармонии окружающего мира, всего в этом мире от маленькой травинки до огромного неба, от морозного узора на оконном стекле до потрескивания дров в русской печи, от тепла развалившегося в ногах кошачьего тела до возбуждающей чих щекотки от проникающего в окно лучика яркого, но не жаркого, зимнего солнца. Или когда чуть продрогший от утреннего стелющегося над лугом тумана, с ногами, насквозь промокшими от обильной утренней росы, ты делаешь первый заброс и всем удилищем, всей рукой, всем телом, всем мозгом чувствуешь отчаянное сопротивление на крючке огромного пятидесятиграммового пескаря. Или когда дед садит тебя первый раз на огромную высоту – на спину старого уставшего мерина, и ты обхватываешь ногами его теплое круглое тело, и сердце рвется наружу от восторга, потому что ты так давно, так давно, еще с прошлого лета, мечтал об этом, мечтал с того момента, когда с такой же мериновой высоты на тебя снисходительно глядели такие же как ты деревенские мальчишки, уже познавшие это счастье.

С возрастом таких мгновений становится все меньше и меньше. И однажды, когда неизвестно, у всех это по-разному, человек просыпается и понимает, что сегодня ничего нового в жизни не будет, что про сегодня он уже все знает, и все, что сегодня будет, уже не радуется, и, самое главное, завтра будет такое же ощущение.

Зимой Фёдор любил каникулы и выходные. Когда не надо было вставать затемно, и позавтракав и одевшись в теплой избе, бабушка уже успевала истопить печь, переться в серое или еще даже черное холодное утро, скорее полуутро или недоутро, чтобы успеть в школу. Страшно хотелось спать и в тепло, но еще больше не хотелось – не хотелось читать, писать, считать. Потому что не хотелось.

В выходные можно было спать до того самого момента, когда солнце заглядывало в окно их комнатки, пробиваясь сквозь витиеватые морозные узоры на стеклах двойных рам. Даже если Фёдор просыпался раньше, он все равно ждал, когда солнечные лучи добирались до его лица, в носу становилось смешно и щекотно, и хотелось громко и смачно чихнуть. Конечно, солнце бывало далеко не всегда, пасмурно было частенько, но именно такие ясные дни он особенно обожал.

Потрескивание дров в печи – это вообще для Фёдора всегда была какая-то особенная музыка. Как только Фёдор начал справляться с поленьями, бабушка научила его растапливать печь. То, что для взрослых было обыденным, привыч-

ным и порядком поднадоевшим трудом, для него было каким-то волшебным действием. Надеть валенки, телогрейку, пойти в дровеник, тщательно выбирать там ровные, аккуратные, лучше березовые поленья. Они быстрее схватываются и именно они, когда разгораются, то красиво и душевно потрескивают. Поленья нужно складывать на левую руку, одно к одному, чтобы не было зазоров, иначе нести будет неудобно, да и просто на руку меньше войдет. Когда чувствуешь, что уже некуда, а рука начинает неметь, этой же рукой нужно прижать охапку дров к телу, а второй только придерживать, потому что она должна быть свободной, ведь еще открывать двери. Когда охапку дров прижимаешь к себе, тебя окутывает странный, потому что он ни на что не похожий, запах мороженой древесины. А потом у печки ты бросаешь охапку на пол и этот запах соединяется со звуком падающих и бьющихся друг о друга поленьев и на секунду возникает неповторимая гармония запаха и звука ...

Затем надо достать с печки хорошо высушенную березовую чурку и большим, сделанным отцом на заводе, ножом с эбонитовой ручкой нащепать лучины. «Нащепать лучины...» Как давно он уже не говорил и не слышал этих слов! Таких красивых слов... «Нащепать лучины! ...»

Эта мысль пришла Фёдору в голову, когда бабушка Настя уже умерла. Умерла она также, как жила всю жизнь, на ходу, за работой. Последние годы она жила с дядей Колей, её младшим сыном. В какой-то момент, до этого в общем-то лад-

но складывающаяся жизнь дяди Коли пошла враздрай. Дочь Иринка как-то по-шальному вышла вышла замуж за работавшего на ремонте теплотрассы возле их дома стройбатовца с Западной Украины и уехала с ним куда-то то ли в Ужгород, то ли в Полтаву. Вечно недовольная чем-то жена, тетя Лида, тетка, по мнению Фёдора и брата Сереги, довольно вредная, ушла от него. Любимый дяди Колин сын Женька подвинулся рассудком после нелепой травмы, ударившись о бордюр при падении во время банальной пацанской драки. Женьку увезли в краевую психбольницу, где он и содержался большую часть времени. Фёдор несколько раз навещал его по просьбе дяди Коли. Он с Женькой сидели в больничном парке, под большими вековыми липами. Женька говорил медленно, хотелось сказать степенно, но нет, скорее заторможено, и обстоятельно рассказывал, как их кормят, какая у него не скрипучая кровать, у других скрипучие, какие фильмы им показывают один раз в неделю, и какие хорошие и добрые у них врачи. Потом его стали ненадолго отпускать домой. Вроде бы он был таким же тихим и спокойным, но однажды пропал. Говорят, последний раз его видели на железнодорожном вокзале. Больше о нем никогда никаких вестей не было, а внутренние органы, в которые дядя Коля написал заявление, похоже, Женьку особо и не искали. Дядя Коля начал пить.

Бабушка в то время жила с родителями Фёдора, а они с братом уже учились в институте и дома бывали только наездами.

– Ну что, Иван, Мария, – сказала бабушка, – робят, так она всегда называла всех своих внуков, в данном случае имея ввиду Фёдора с братом,

– Робят я вам подняла, а тут сами видите, погибат Николай.

Так бабушка ушла жить к дяде Коле. Дяди Колин дом был недалеко от родительской квартиры, полученной ими в счет уже снесенного к тому времени дома, и когда с дядей Колей все более или менее наладилось, бабушка, навещая родителей, частенько оставалась у них ночевать. В день, когда она ушла насовсем, все как раз так и произошло. Месяцем раньше Фёдор привез ей купленную на областном рынке шерсть. Шерсть она всегда пряла сама, а потом на всех родственников вязала носки. Носки, которые обожали все они, от мала до велика. У них был какой-то особый запах, в них был какой-то загадочный внутренний источник тепла и еще какая-то неповторимая нежная колючесть, которая и сами носки делала неповторимыми. Такими же неповторимыми, как ее же, бабы Насти, волшебного вкуса пирожки с солеными грибами, или с вареной морковью, которые, кажется, пришли в этот мир с бабушкой Настей и с ней ушли навек обратно. Других таких нет и больше не будет никогда.

Носки для Фёдора были готовы, бабушка предупредила дядю Колю и вышла. Вечером он не беспокоился, думал, что она осталась у Фёдоровых родителей.

Бабушка Настя умерла на крыльце, присев на скамеечку.

Инсульт, как сказали врачи. Ей было 84 года. Помимо носков для Фёдора, бабушка в этот день прополола пару грядок на огороде, накормила десяток дяди Колиных кролей, приготовила ему ужин. Потом собралась навестить другого сына, вышла на крыльцо, присела на скамейку и умерла.

Да, эта мысль пришла Фёдору уже после того как бабушка Настя умерла. Он вдруг понял, что он никак не может вспомнить как, во что она одевалась. Он помнил ее круглое, в мелких морщинках лицо, ее никогда не повышавшийся, но совсем не слабый голос, ее теплые, чуть шершавые руки. Он помнил ее всю, но не помнил, во что и как она одевалась. Про других он это помнил, про отца, про его нейлоновые рубашки, про маму, какое у нее были кримпленовое платье или ситцевый халат, про вельветовую куртку брата, которой он так завидовал и мечтал, что она достанется ему, когда брат вырастет. А бабушку он помнил, как ощущение. Был еще один человек, которого он помнил, как ощущение – Тятя, дедушка, мамин папа. Но все-таки в воспоминаниях Тятя всегда был в гимнастерке.

Чем была для бабушки Насти война? Тем же временным разделом. Временным разделом с ударением на третьем слогe. Моментом времени, когда ее жизнь разделилась на жить и выжить. Как бы трудно не жила она до этого момента, она жила, трудно, тяжело поднимала детей, но жила, а потом пришлось выживать. О жизни других задумываешься только тогда, когда сам перешагнешь какой-то возрастной рубеж.

Когда Фёдору исполнилось сорок, он однажды, расспрашивая отца, вдруг понял – а ведь бабушке, когда пришла война, было всего на год больше. По сути, женщина в расцвете лет.

Про довоенную бабушкину жизнь Фёдор знал со слов отца, тетки, да и самой бабушки, которая порой нет-нет, проходя, между делом, да и вдавалась в воспоминания. Замуж она вышла в 18 году и в 18 лет. Отнюдь не по любви. Деду, Ивану Абрамовичу, к тому времени было уже тридцать. Фёдор не знал подробностей, но знал, что дед овдовел. Остался с тремя детьми. Хозяйство у него было крепкое, и когда он посватался, Настю за него отдали без разговоров. У нее семья была бедная, у родителей были еще две девки и сын. Бабушка шибко не противилась, времена были шальные, уха-жеров в деревне особо не было, да и как она сама однажды призналась – дед ей нравился, и, по-видимому, не ей одной. Да и по старому, пусть и отретушированному портрету, было видно, что дед был не то что хорош собой – красив. Густые темные кудри, широкие, как порой говорят, мужественные скулы, чуть подкрученные вверх густые усы.

Гражданская война до них не добралась и бабушка прожила с дедом 14 лет, нарожав ему еще 2 сыновей и дочь – Егора, Ивана – отца Фёдора, и тетю Аню. С двумя сыновьями и дочерью от первой жены деда бабушка поладила без каких-либо недоразумений, правда, как она рассказывала, мамой ее называл только самый младший пасынок, Сашка, а старшие Василий и Александра звали Настей. Однажды мать

Фёдора, сидя вечером за каким-то рукодельем, спросила бабушку:

– Мама, – она звала свекровь мамой, – мама, а как вот ты так жила с мужиком, который на 20 лет тебя старше?

Фёдор к тому времени уже что-то более–менее в этом смысле понимал и ему было интересно, что баба Настя ответит. Он хорошо запомнил и этот момент и ее слова. Она немного помолчала, а лицо ее вдруг как-то заметно разгладилось и посветлело.

– Как жила? А знаешь, Мария, жила как у Христа за пазухой. Ни тычка не получала, ни слова худого, а вот ласковых слов за всю другую жизнь столько не слыхивала. Счастливо я жила, Мария. За своим мужиком как за каменной стеной была. Ничего не страшилася.

В 1932 деда «забрали». Так в их окружении говорили все и всегда. Просто «забрали». Ни кто забрал, ни куда забрали. Было достаточно одного слова «забрали». Все всё понимали. Году в тридцатом дед в складчину с двумя двоюродными братьями купили пресс, поставили в лесу избушку и стали давить и продавать пихтовое масло. Кому и почему это не понравилось, неизвестно. Деда и его братьев арестовали и сослали неизвестно куда. Он вернулся через два года, не по срокам постаревший и больной. А еще через два года умер. Но до этого, наверное, пытаясь зацепиться за жизнь, успел сделать бабушке еще двух детей – будущих Фёдоровых дядю Колю и тетю Нину. На этом замужняя жизнь бабы Насти за-

кончилась. Началась вдовья.

В сорок первом первеница Анна вышла замуж, так что к началу войны у бабушки на руках было четверо – старшему 13, младшей 4. Благо пасынки уже оперились и немало помогали. Старший Василий женился и работал в городе на заводе. Александра тоже обзавелась семьей, вышла замуж. Младший из пасынков, Александр, в сороковом был призван в армию и служил где-то в Москве.

На фронт забрали двоих – в 1942 году призвали Василия, в начале 1943 года, как только ему исполнилось 18, ушел добровольцем ее самый старший родной сын Егор. Егор погиб летом сорок третьего, под Прохоровкой, в Курской битве. Это уже в эпоху интернета, установил Фёдор. Он распечатал из базы данных и принес отцу донесение о потерях, где было отмечено – «гвардии рядовой Стариков Егор Иванович, 1925 года рождения, связист, погиб 23 июня 1943 года в результате артиллерийского обстрела». Таким отца Фёдор не видел никогда. Руки его дрожали, на глаза навернулись слезы. Потом Фёдор вспоминал, сестра отца, тетя Аня говорила, что он старшего брата Егора любил больше всех. «Как хвостик за ним увивался все время». Со слов тети Ани, когда принесли похоронку, отец Фёдора, проревел, нет, проплакал, говорила она, потому что слышно его не было, на повети целый день. Бабушка, со слов той же тети Ани, не плакала, не рыдала – она замолчала. Замолчала на несколько дней. И именно тогда поседела. Фёдор ее помнил толь-

ко седой. Дядя Вася, согласно тому же интернету, погиб в 1944 году в Белоруссии. Отец вспоминал, что похоронку в деревню привезла жена Василия, который к моменту ухода на фронт уже был женат.

Такие жертвы принесла войне бабушка Настя. Она уже больше никогда не смеялась. Так, как обычно смеются, громко, заливисто. Она только улыбалась. Нешироко, спокойно улыбалась. Иногда казалось, что улыбаются только морщины на ее лице. Морщин этих было много, они были ровные и глубокие, как следы от граблей на свежевскопанной огородной грядке.

Она выжила. Выжили все ее оставшиеся дети. Вернее, она выходила, вырастила их. Она вырастила их внуков. Но война поделила время, отведенное ей на земле, на то, когда она жила и на то, когда она выживала. И лучшее, что она видела в этой жизни, осталось там – до войны.

Глава 5. Папа

Отец Фёдора был красивым мужиком. Вроде бы невысокого роста, но, впрочем, для своего поколения, наверное, вполне среднего, он был коренаст, ладно скроен и походил на гриб боровик. Но главным его достоинством были кудри. Кудри были крупные и густые, отец зачесывал их назад, но они слушались этих зачесов не особенно и подымались надо лбом красивыми ровными волнами. У брата Сергея на голове тоже были намеки на волнистость, особенно когда он студентом отрастил волосы подлиньше, или, как говорила бабушка Настя, «патлы распустил». Фёдор завидовал им обоим, и отцу, и брату, Его жесткие, прямые волосы нелепо торчали во все стороны и ему стоило немалых трудов заставить их принять какое-то подобие прически. Как-то раз он спросил у отца:

– Пап, вот почему у тебя кудри, а у меня нет?

Он до сих пор не знает, шутил тогда отец или нет.

– Так у меня до армии тоже кудрей не было. А в армии четыре года регулярно под «ноль» стригли – вот в результате и закучерявился.

– И что, если я наголо подстригусь, у меня потом тоже кудри будут?

– Не сразу, но, думаю, должны появиться.

Фёдор сходил в парикмахерскую в тот же день. Первые

неприятные ощущения появились у него сразу после выхода из парикмахерской – на улице царствовал февраль, мела по-земка и было градусов под 20 мороза. Серая кроличья шапка вдруг оказалась велика, она сползала то на затылок, то на глаза, а холодный ветер беспрепятственно заползал под края шапки и гладил свежую лысину Фёдора совсем неласково. Но самое главное потрясение ждало Фёдора дома, у зеркала. Большая, ему казалось огромная, уродливая голова, еще более уродливые, торчащие в стороны уши, хотя в чем была эта уродливость, он сформулировать не мог.

– Урод, урод, урод...!

Хорошо, что дома никого не было – он заревел навзрыд. В общем, Федор понял, что четыре года таких эмоций ему не вынести, он отказался от мечты обрести кудри и решил жить таким, какой есть. Много позже, однажды вспомнив этот случай, Федор подумал, что это ведь было первое в его жизни крушение мечты и, может быть, оно подготовило его к осознанию того, что не все в этой жизни будет так, как тебе хочется, даже если хочется очень-очень.

Да, отец Фёдора был красивым, а еще каким-то основательным. Фёдор это понимал даже из случайных разговоров и взглядов окружающих. На отца обращали внимание женщины, его уважали мужчины. Его никогда и никто не называл «Ванькой», все звали или Иваном, или Иван Ивановичем». Все он делал по-крестьянски добротнo и основательно.

На войну отец не попал. В марте 1945 отцу исполнилось

семнадцать. Многих городских в семнадцать лет отправляли в военные училища, чтобы после года учебы, когда им исполнялось восемнадцать, уже бросить их молодыми лейтенантами на фронт. Из деревни в училища почти не брали. Наверно, из-за образования. Отец Фёдора семь классов закончил с грехом пополам, потому что большую часть времени он работал в колхозе.

Принято считать, что вся молодежь в то время рвалась на фронт. Со временем Фёдор начал понимать, что все было далеко не так однозначно. В какой-то момент он понял, что отец боялся фронта. И у него были тому причины – в 1943 на Курской дуге погиб его любимый брат Егор, в 1944 году в Белоруссии еще один брат Василий. Он видел, как после первой похоронки за два дня поседела его мать, бабушка Фёдора, он видел одоруких, одноногих односельчан, из которых к мирной жизни смогли приспособиться немногие.

После двух погибших братьев отец был следующим в очереди на войну, на смерть. Но в семнадцать его отправили в ремесленное училище магниевого завода, или как все говорили, в ремеслуху. Тетя Аня, сестра отца, рассказывала, когда в дом пришли участковый и председатель, бабушка, уже тогда ниже отца на голову, как будто вдруг став выше и шире, загородила его, распростав руки:

– Не пуцу, не пуцу... Не отдам.. Я уже двух отдала.

– Не кричи, Настасья. Рано ему еще на фронт. В ремеслуху его отправляют...»

С ремеслухой, ремесленным училищем, связана еще одна отцова тайна, о которой Фёдор узнал, когда отцу уже отмечали восемьдесят. В жизни каждого есть конкретные события, которые отражаются на всей последующей жизни человека, вернее на его мироощущении, мировосприятии. Бывает, что до этого события мир бывает голубым или белым, или просто светлым, а после становится черным, серым, мрачным. Бывает наоборот, хотя наверно реже. Бывает, что до этого события мир был полон надежд, ну если не полон, то хоть немного пропитан надеждами на что-то лучшее, неизвестное, непонятное, но однозначно лучшее, а бывает что за короткий срок этого события эти надежды улетучиваются напрочь и жизнь наполняется страхом, или запахом его, и постоянное ощущение, ожидание какого-то подвоха может преследовать человека иногда всю жизнь. В разные времена по-разному, когда-то больше светлого, когда-то темного. Тогда война шла к концу, и в душе у большинства, даже у тех, кто потерял на фронте самых близких, было ощущение, что дальше все должно быть только лучше.

Гостей на дне рождения отца было немного, родственники, соседи. Все уже немного выпили. Разговоры шли своим чередом, вспоминали жизнь, как все менялось, кто кем стал, кто как живет. Мать вдруг со смешком сказала:

– Вот уж больше полста лет прожили вместе, а только лет пять как узнала, что за ээком живу...

Фёдор помнил, что тогда ему вдруг пришло на ум затас-

канное выражение про «скелеты в шкафу».

– Это ты про что, мам?

– Так ведь отец то у нас зэк. Целых три месяца в тюрьме сидел...

Фёдор посмотрел на отца. Похоже, что время, когда вспоминать ему об этой истории было неприятно, уже прошло, и он воспринимал эти мамины шуточные провокации спокойно.

Дальше рассказывала старшая папина сестра, тетя Аня. Оказывается, после ремесленного отца отправили работать на магниевый завод. Вдвоем с приятелем их, вчерашних деревенских мальчишек, отрядили чистить ломами изнутри какую-то тесную заводскую трубу. Они выдержали такую работу дня три и сбежали в деревню, на родные просторные и открытые ветру и солнцу поля и покосы, к добрым и «немногословным» лошадям и коровам. А через пару недель отца забрали прямо с колхозного поля два милиционера – «за оставление рабочего места» и за одно судебное заседание присудили ему 3 месяца принудительных работ. Бараки за колючей проволокой, где держали подобных «сидельцев», стояли на месте нынешнего лесозаготовительного комбината.

– Я чего-то соберу из съестного, кормили то их плохо, – рассказывала тетя Аня, она тогда уже работала в городе на пороховом заводе,

– Приду к воротам и, когда их ведут с работ, быстренько

ему суну. А он худой, в грязи, телогреечка рваная, длинная, до колен. Так жалко становится, то еле сдерживаюсь, пока не отойду подальше. А потом реву, реву ... А в деревню приду, матери говорю – да все ладом – только ведь она все равно все понимала, как ему худо, А она после того, как Егора убили, за вашего отца больше всего переживала...»

Практически всю жизнь, не считая детства и юности, отец проработал на заводе, но при этом он так и остался крестьянином. Фёдор видел, как отец расцветал, когда приезжал на выходные в деревню к Тяте, маминому отцу, своему тестю. Тятя это видел, все понимал и покос без отца никогда не начинал. В пятницу, после смены на заводе, отец успевал на последний речной трамвайчик, час на трамвайчике, потом еще десять километров пешком, приходил поздним вечером, уже в сумерках, а утром, часов в 6 или даже в 5, они уже отправлялись на покос. С вечера в колхозе брали лошадь, последние годы, пока был жив Тятя, чаще всего это был мерин по имени Санчик. Запрягал его всегда отец, а Тятя, похоже, намеренно оставлял ему такую возможность. К этому выводу Фёдор пришел, когда однажды увидел, как Тятя наблюдает за этой процедурой из открытого окна избы. Крестьянские лошади вообще-то не любят, когда их запрягают, наверное, это понятно – запрягают, значит, ждет тяжелая работа. Ладно, если одна уздечка, может, поведут купаться, на луг или в ночное, а если они видят хомут, телегу – тут никаких альтернатив. А здесь, странное дело, отец похлопывал Санчика

по щеке, гладил, говорил что-то на ухо и Санчик сам, без всякого принуждения шел к телеге и даже сам, что называется «сдавал назад», пятась и становясь между оглоблями. Плеть в руки отец никогда не брал. Когда надо было ехать быстрее, он даже не дергал вожжи, не повышал голос, он говорил – «Но, родной!» и Санчик ускорял шаг. А на покосе Фёдор сам однажды залюбовался и заслушался, когда отец после очередного прогона одним движением виртуозно перевернул литовку и начал ее править, ловко орудуя брусом. «Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик» – музыка! Косил он также ритмично и красиво. На покос он одевал, приберегаемую для него у Тяти старую просторную, холщовую косоворотку.....

Мать рассказывала, как еще до замужества они с девчонками бегали на танцплощадку у Дворца культуры бумкомбината. Отец тоже захаживал туда, как она говорила, «тряс перед девками своими чупрами..». Фёдор не знал, как отец танцевал, ни разу не видел, хотя был уверен, что это получалось у него хорошо, он ведь еще играл и играл очень хорошо на семиструнной гитаре. Со слухом у него все было в порядке. Да, Фёдор не знал, не видел, как отец танцевал, не пришлось ... Но косил он красиво. Это был его мир....

И да, ему повезло. Все так говорили – повезло. Отец не был на войне. Он не был на войне, но война прошла по нему сполна. Он ее боялся. Точнее он боялся двух вещей – войны и голода. Война забрала двух его братьев, она гото-

ва была забрать его, она сделала седой его мать, она сделала основной заботой его жизни – заботу о хлебе насущном, просто потому что во время войны его не хватало, сильно не хватало. Бабушка вспоминала, что когда его в 46-м призвали, в первом письме из армии он писал – «Мама, а кормят здесь досыта ...» А во время войны «все было для фронта, все для победы!» Это все понимали, но сытнее от этого не становилось.

Ему было тринадцать, когда он остался в семье самым старшим мужиком. Он, мать и еще двое малых – брат и сестра. И до всей этой истории с ремеслухой, он, еще совсем пацан, день за днем почти все четыре года войны работал, работал, работал, тяжело работал – в колхозе, дома, зимой на лесозаготовках. Собственно, он так проработал и всю оставшуюся жизнь. И этот страх войны – умереть, потерять родных, видеть голодных детей, недоедать, преследовал его всю жизнь. Он и отдыхал за работой, но только за работой на земле. Его крестьянская душа так и не стала пролетарской. Даже за тридцать лет работы на заводе.

Глава 6. Мама

До поры до времени, пока в их семье у старшего брата Сергея не появился фотоаппарат, старенькая «Смена», фотографий в их доме было немного. Всего один альбом в потертой синей бархатной обложке. Половину альбома, если не больше, занимали глянцевые, очень качественные снимки с разных курортов, на которые их отец и мать ездили минимум раз в пару лет.

– Это вам отступные от государства за работу в газу – так по поводу этих регулярно выдаваемых путевок высказывался дядя Паша Черепанов.

Он был прав, в конечном счете, работа «в газу» сказалась на их здоровье самым негативным образом. Сам дядя Паша на курорты никогда не ездил, может водилам путевки туда и не особо давали, но, скорее всего, потому что всем курортам дядя Паша предпочитал охоту и рыбалку.

Но, надо признать, курорты эти и папе и маме шли на пользу, они приезжали отдохнувшие, посвежевшие, да и на этих курортных фотографиях выглядели совсем не как дома, а как из другого мира – будто вовсе и не заводские работники. Отец на фото всегда в хорошо сидящих на его крепкой коренастой фигуре костюмах, почти как партийный работник из фильмов про совестливых и все знающих секретарей райкомов и горкомов, а мама с ее семьей классами дере-

венской школы была похожа на учительницу, или даже скорее, на школьную директрису, всегда с прическами довольно сложных конструкций, каких дома у нее Фёдор не видел ни разу.

Еще было в альбоме несколько фотографий, которые ему лично очень нравились, но он очень не любил, когда их показывали другим, особенно в его присутствии. На этих фото они были с мамой и братом Серегой. Фёдор был маленький, круглый и пухлый, именно поэтому ему собственно и не хотелось, чтобы эти фото видели другие, но, несмотря на это неприятие себя, сами фотографии ему действительно очень нравились. На этих карточках ему, со слов мамы, было всего три года. На них с братом были шорты, как тогда говорили, с помочами, сандалии и красивые белые, с разноцветной причудливой вышивкой на груди и на вороте, рубашки. В такой же белой вышитой рубашке на одной из фотографий под кустом сирени стоял и улыбался своей всегда сдержанной улыбкой отец, только он на фотографии был один. Много позже, когда отец уже ушел, а у мамы сильно болели ноги и она самостоятельно далеко от дома не ходила, Фёдор каждый раз по приезду стал устраивать ей автомобильные прогулки – вывозил за город, в сосновые боры на Ланинских полях, на ключи на Боровице, а еще по старым городским районам – мимо их первой еще коммунальной квартиры, мимо Дома культуры, мимо рынка, мимо завода, словом, по всяким памятным для нее местам. Однажды, во время такой но-

стальгической экскурсии, когда они проезжали мимо старого захиревшего и заросшего, словно бомж, парка возле ДК Бумажников, она неожиданно спросила:

– Фёдор, а помнишь те фотографии, где мы втроем, я и вы с Сережей, как вы выражались, в штанах на ляжках?

– Конечно, мам, помню!

– Так вон те акации, где нас снимали! Вымахали то как ... И заросли.. А тут очень культурный парк был... Оркестр по выходным играл... Танцы, мороженое, газировка... Мужики пиво пили из бочек... Все нарядные приходили. А фотограф, он здесь за плату снимал, как вас в этих рубашках увидел – какие, говорит, красавцы! Давайте, я вам фото бесплатно сделаю. И ведь сделал.

– А как же он нас нашел потом, мам? Тогда ведь все долго делалось – проявить, закрепить...

– Так что, сынок, в городе то нашем, как в в деревне, все всех знают. А это крестной твоей тети Раи Матанцевой сосед был...

Мама помолчала:

– Отец был очень рад, когда я вам всем эти рубашки вышила. Ну вы то быстро выросли из них, а ему она до смерти в пору был.

Она вдруг разом погрустнела.

– А дня за три до того позвал меня... Ну как позвал, он ведь помнишь, почти уж не говорил после инсульта, ну так помычал вроде... Я подошла, а он той рукой, которая ещё

шевелилась чуток, по груди от горла вниз водит. Пить, говорю, хочешь? Нет, головой крутит. И ведь надо, смекнула. Принесла ему эту рубашку, она давно у меня в комод в нижнем ящике лежала. Говорю – ее хотел увидеть? А он взял ее живой-то рукой, мнет, мнет и плачет... И рука то слабая совсем, а ведь собрался, взял мою, ко рту поднес и как целует... Первый раз в жизни мне руку целовал... Получилось, прощался.

Она уже не смотрела в окно, на такие многолетно знакомые улицы и дома.

– Устала я, сынок... Поехали домой...

Мама родилась в 1934 году. У Тяти с бабушкой Ульяной уже было две дочери, будущие Федоровы тетя Нина и тетя Надя, и сын – будущий дядя Саша. Мама рассказывала, что бабушка рожала чуть ли не каждый год, и до нее, до мамы, у бабушки родились еще двое мальчишек, но оба умерли в младенчестве неизвестно по какой причине. Интересно, что обоих успели назвать Вовками. На третьем мальчишке рисковать не стали, назвали его Сашкой. И он выжил. Но тоже ушел раньше времени, хотя и успел оставить на этом свете дочь и двух сыновей.

Уже когда не стало отца и мама много и часто болела, они с братом, чтобы отвлечь ее от болячек и тоскливых мыслей о том, что все в этом мире когда-то кончается, нарочно заводили разговор о деревне, о ее детстве и юности, поминали знакомые места и имена. Она легко поддавалась на эти «про-

вокации». Рассказывала она, также как вышивала, неторопливо и ладно, слово за словом, как стежок за стежком. Они любили эти рассказы. Весь этот мир и природы и людей, в котором происходили сюжеты этих историй, был им хорошо знаком. И Тягина деревня, да и все остальные деревни в округе, которые, похоже, не менялись ни с довоенных, ни с послевоенных времен до самого своего почти полного исчезновения, все эти темные леса и прозрачные перелески, запашистые луга и израненные оползнями красной глины овраги, и обе речки, спокойная, теплая, в завитушках омутов Лысьва и быстрая, обдающая за десяток метров прохладой, ключевая Мельнишная были исхожены и изброжены ими вдоль и поперек, они знали практически всех окрестных жителей и мамыны рассказы легко ложились на уже готовую почву их собственных воспоминаний.

Большую часть жизни проведшая в городе, говорившая в принципе уже хорошим и относительно правильным, городским, русским языком к концу своего повествования мама понемногу снова сбивалась на тот замечательный, ни на что не похожий уральский деревенский говор, казалось придававший ее рассказам помимо представляемых ими событий еще и сопутствующие им запахи, запахи изб и бань, лошадей и коров, сочных лугов, густых лесов и прохладных вод речушек, ручьев и ключей.

Она рассказывала про посиделки под кедрами в еще довоенные годы, под тремя громадными кедрами, которые были

излазаны ими до последнего более-менее крепкого сука, вкус шишек которых они знали лучше, чем нынешние детишки знают вкус бургеров или сникерсов.

Рассказывала, как поскользнувшись, улетела с плотины старой еще дореволюционной постройки мельницы на Мельнишной, куда они с Тятей возили молоть рожь, мельницы, в развалинах которой они с Серегой могли ориентироваться с закрытыми глазами. Как, поспорив с деревенскими девчонками, она ночью ходила в жуткий «заколдованный» ельник под Елькиной, в который потом они с братом через день на третий ходили за крепкими боровыми синявками. Особенно смешно и весело мама рассказывала, как однажды она ночевала в гробу, который Тятя изготовил по заказу кого-то из соседней деревни Ефремовой. Накануне бабушка предупредила маму, что запрет все засовы и не пустит ее в дом, если та придет слишком поздно, что и произошло. Шел дождь, ей было холодно и обидно, и она не нашла ничего лучше, чем пристроиться на свежих сосновых стружках в стоявшем на двух колодах во дворе гробу и закрыться от дождя крышкой... И как ее искали наутро... И Тятино, обращенное к бабушке:

– Ох, Ульяна, коли пропадет девка, я тебя, Ульяна, прибую...

И как мужики, приехавшие за гробом, удивлялись:

– Ты что, Федор Егорович, нам гроб-то уже с жильцом изготовил, али как?

Эти колоды, на которых стоял тот гроб, они с Серегой тоже помнили – они так и стояли в тятином дворе, немые свидетели наверное целого века и множества самых разных историй, самых разных жизней и смертей. Мама умела рассказывать, рассказывать весело, с красочными подробностями, точными характеристиками участников событий и самой ей неосознаваемой тонкой иронией и по отношению к ним, и по отношению к себе.

Из деревни она ушла в семнадцать. В пятидесятом поступила в медицинское училище, которое когда-то закончила ушедшая на фронт ее сестра Нина. Но не судьба. Успела проучиться только полгода. Ее учеба закончилась, когда началась практика, когда состоялся первый поход первокурсников в морг. Мама в свои восемьдесят порой забывала, что делала вчера, но детали того дня она помнила до мелочей.

– Вы ведь тетку Райку то помните, крестную? Мы ведь с ней там и подружились. Так она меня надоумила. Надо, говорит, Маша день до этого морга не есть, совсем ничего не есть. А то, как зайдешь, увидишь мертвеца, так тебя всю наружу и вывернет. А нам что, не привыкать, что мы голодом что ли не сиживали. Вот мы с ней целый день да на одной воде. А утром на занятия. А морг то был во дворе, знаете красный то двухэтажный дом дом по 25 Октября, там купец до революции жил, Тятя сказывал. Вот мы собрались, вроде зашли, а все равно все у дверей жмутся, все-таки впервой так близко то большинство голый труп видели. Померших в гро-

бу видали, а вот так – нет. А я вообще за спинами прячусь, туда на стол и не гляжу. Резал то санитар, а преподаватель наш, Юрий Борисович его звали, вроде как объяснял что к чему, да нас спрашивал, что как называется. Мы по книжкам то что-то уже учили, мышцы всякие, да кости. И вдруг он, преподаватель то, берет меня за плечо – «А вот Старикова нам это и покажет...» и к столу меня тянет. А я только увидела руку волосатую, да с наколками, зэк, наверное, был, так сразу и в обморок... То ли с голоду, то ли от страха, до сих пор не пойму... Помню только, что мне нашатырью все в нос тыкали, да чаем потом отпаивали. Так и кончилась моя медицинская карьера... Тут место на почте подвернулось и мы с Райкой заявление написали ... А Юрий Борисович, он хороший был дядечка, потом встретил меня на почте и говорит: «Ну и правильно Мария, не ваше это ... Жесткости в вас не хватает.»

– Но хватат, не хватат, а гляди-ка, ведь как на заводе что взрывалось, так и ничего – и руки, и ноги перевязывала, покуда врачи то прибегут, а единова и пальцы оторванные собирала и ничего, боле в обморок не падала. Так что зря поди Райка голодать то насоветовала...

Одно было странно в маминых рассказах – из них как будто выпал целый временной период – с 41 по 49 год. Те года, когда в доме не было Тяти. Сначала он был на фронте, потом охранял пленных немцев в лагере под Нижним Тагилом. Все попытки Фёдора расспросить ее именно про это время

наталкивались на какой-то непонятный барьер. Однажды он, будучи дома на каникулах после стройотряда, в очередной раз спросил мать:

– Мам, ну а как вот вы все-таки жили в войну? Ты никогда не рассказываешь?

– А чо рассказывать, сынок? Голод да холод.. Как вовсе и не жили мы... Выживали...

И в этот момент, как ему показалось, он понял причину – ей было тяжело и неприятно вспоминать это время. И он отказался от дальнейших расспросов.

Пожалуй, только раз однажды мама вспомнила военную пору. Прошел год, как не стало бабушки Ульяны. Они выпили по рюмке «за царствие небесное...», мама немного всплакнула, а потом вдруг разговорилась.

– Вот говорят «царствие ей небесное», а ведь не шибко ее, маму-то нашу, вашу бабушку Ульяну, любили. Ни мы, дети, ни соседи... Ну и она тоже особо никого любовью то не одаривала. Грубовата была, могла и веником отходить, да порой и батогом, если под руку попадет. Да и вы, малые когда еще были, все после деревни спрашивали – «Мам, а почему бабушка Ульяна никогда не улыбается?»

– А вот теперь посуди сам. Тятя ушел на фронт в сорок первом, маме было тридцать восемь, вернулся в сорок девятом, считай почти восемь годов, да из них четыре военных, мама одна пласталась с нами четыремя. Ладно, Саша с Надей постарше, а мне, как война началась, было семь, Коле вовсе

четыре. Всех накормить, обушь, одеть, печь истопить, корову подоить, а потом в колхоз ... А жили все бедно, очень много из колхоза забирали, совсем крохи на трудодни оставалось. Вот она и срывалась на нас. Помню тоже, достанется мне, я залезу на поветь, забьюсь в угол и все про себя – Вот Тятя придет, все- все про тебя расскажу, как ты нас понужала...

– А ты помнишь, как из Пегушиной к нам идти, справа от моста овощехранилище старое было. Туда все свозили, и зерно, и картошку, да все, чтобы потом в город свезти. Оборонный налог, говорили. А мы тогда по зиме в школу в Пегушину бегали, во вторую смену, в нашей-то вакуированные жили. И вот я бегу из школы, уже в потемках, холодно, есть беда охота, думаю, мама должна что-то с работы принести, дома–то все подчистую подмели. И глянь у оградки овощехранилища куча какая-то темная. Картошка мороженая! Видать в город то забраковали и тут вывалили. Складские то могли, они сытно жили. А у меня некуда покласть. Я бегом бегом домой, схватила в сарае сумку холщовую и назад. Откуда силы то? Я ведь худая была совсем, в школе «вицей» обзывали. Бегу, а сердце бьется шибко-шибко, того и гляди выпрыгнет! Все переживаю – а вдруг кто вперед меня все заберет. Нет, всё слава Богу на месте. Принесла домой, Колька, дядя Коля ваш, в окошке торчит, а боле никого нет. В общем, сварила я эту картоху, растолкла, молоком еще чуток развела, корова то, хоть худа была, но молока сколько-то давала. Ну мы с Колей от пуза и наелись. Потом Надя с Са-

шей с работы пришли, их тоже уже в колхоз привлекали, и их накормили.

– А мама поздно пришла. И пустая. Ничо им в этот день не дали из съестного. Зашла, а мы сытые сидим. Надя с Сашей все рассказали – Это Маня, мол, нас сегодня накормила...»

А она молчком, да в тятину столярку. Я сначала в щелку в дверную подглядывала, а потом осмелела и зашла. А мама сидит на скамье и запоном глаза закрывает. И я понимаю, что плачет мама... Никогда ее не видела плачущей ни до тех пор, ни опосля... Ну как она старенькая стала, так то не считается... У старых, как у малых слезы прямиком текут, внутри не держатся...

А она глаза подняла, усталые-усталые они у нее, прижала меня и по голове гладит: «Спасибо тебе, девка. Шла домой и все думала, как в глаза ваши голодные смотреть буду...»

– И, знаешь, вся злоба, что на повети копила, вся ушла. Только жалость осталась. Вот я уж замужем была, как-то раз подумала – девять лет без мужа, голод, холод, четверо детей и работа, работа, работа... Как же не разучишься улыбаться? А бивать нас с той поры боле не бивала. Отругать отругает, не без того, а бивать – не бивала.

– Мам, а бабушка Настя? Она же улыбается! И шутит даже, да еще как!

– Бабушка Настя – божий человек! Она в Бога верит. А у мамы семья вроде и не партейная была, а как-то все мимо церкви.. Не научили ее с Богом разговаривать.

– Мам, а о чем ты мечтала в детстве?

– Да, какие у нас были мечты... Поесть досыта, да Тятя бы побыстрее домой возвратился. Вот и все мечты...

Глава 7. Дядя Саша

Родственников у Фёдора было много. Слава Богу, только у матери его было еще две сестры и три брата, и у отца оставались еще три сестры и два брата, помимо двух, погибших на фронте. Только в родном городе у Фёдора жило девять двоюродных братьев и сестер. Когда порой все родственники собирались вместе на праздники, дома было не протолкнуться. Но одного из дядьев по маме, дядю Сашу, Фёдор в живых не застал. Дядя Саша умер за два года до его рождения. Фёдор знал о нем только по фотографии с похорон. Фотография была старая, размытая. У гроба стояли осунувшийся Тятя с бабушкой, было видно поллица мамы, а остальных рядом с ними Фёдор не знал. Как и отчего умер дядя Саша, Фёдор тоже до определенного времени не знал лет. Детей его, двух своих двоюродных братьев и сестру он спрашивать не решался, и вот только лет в 16 он спросил об этом мать. Она, видимо, была не в настроении.

– Пил он, – сказала коротко – вот с питья и повесился.

Много позже, когда он, навещая уже основательно больную мать, вечером за сидением у телевизора, пытаюсь отвлечь ее от навязчивых мыслей и разговоров про болезни и про то, что «уже пора», расспрашивал ее о прошлой жизни, она как-то разговорилась и про дядю Сашу.

– Я ведь, сынок, как из деревни в город пришла, понача-

ду-то у Саши с Марусей жила. Потом он ведь меня с твоим отцом и свел. Говорит – иди, Мария за Ивана. За ним будешь как за каменной стеной. И ведь прав был Саша то, спасибо ему.

– Он сам то бойкий был. Да что там бойкий, отчаянный. И в драки первый лез, хоть сколь против него, и на работу первый был. А как исполнилось восемнадцать в 45-м в январе, так сразу в военкомат. На лыжах до города отмахал в армию проситься. Вот мама то как шибко ругалась. Только не взяли его. Почему не знаю. Отправили на завод работать.

– И пить то он до поры не пил, а начал только, когда все, кто живой остался, с войны повертались. Знать все у него в душе свербело, что вот они, почитай его ровесники, воевали, а он нет. И что с того, что ты такой отчаянный и смелый, а коли на войне не был, он считал, что вроде он ущербный какой.

– Как поженился, дети пошли, вроде от пьянки отступился, а нет, все равно, как запьет, так на неделю.

Мама тяжело вздохнула:

– Жалко Сашу! Хороший он был мужик. Вот ведь и на войне то не был, а она по нему прошлась. Да чо прошлась, она его и сгубила.

– Тетя Маруся, покойница, жена его, ты же ее должен помнить? Они, говорит, в тот день у них же дома с соседом выпивали. А сосед – фронтовик и чо-то у них какой-то спор зашел. А тот Саше и говорит – «Что ты знаешь сопля, ты ни

войны, ни смерти не нюхал.» А сам то всего то ли на два, то ли на три годка старше. Ну – Маруся говорит – Саша и замолк сразу. Замолк и больше ни слова. Потом во двор ушел. Потом его все нет и нет. А утром его в сарайчике и нашли. Повесился. Вот така судьба.

Дядя Саша умер в 1958 году. Умер? Или все же погиб? После войны прошло 13 лет.

Глава 8. Дядя Паша

Пару раз в неделю Фёдор ходил в гости к двоюродному брату Славке, Славке Черепанову.

Студентом, приезжая ненадолго домой, Фёдор любил ходить по знакомым, тысячи раз исхоженным маршрутам – до Славкиного дома, до лыжной базы, до школы, до пристани, до их заветной поляны.

– Мам, я пойду пройдуся.

Она никогда не говорила ему: «Куда ты на ночь глядя?» Наверное, эти чувства были знакомы ей. Он вспоминал, как мама, навещая их с братом летом в деревне у Тяти, раздав городские гостинцы, усаживалась у окна, смотрела куда-то вдаль, просто смотрела, а не всматривалась, пытаясь что-то разглядеть, а потом, схватив цветастый платок, который в городе она никогда не носила, на ходу бросала:

– Тять, я пробежусь по деревне – и убежала куда-то по одной ей известным маршрутам. Конечно, у нее они были другие – на ключ, к кедром, к старой мельнице ... Возвращалась

грустная...

Фёдор после таких своих прогулок тоже всегда возвращался грустный. Не так уж сильно меняется мир за одну человеческую жизнь. Да, меняется город, строятся новые дома, ветшают старые, становятся выше деревья, гуще кусты, исчезают заборы, появляются заборы, стареют люди, которых ты знал раньше, появляются новые лица, но все равно, когда ты идешь по знакомым с детства местам возвращается все – звуки, краски, ощущения, чувства, все, что было здесь когда-то... Когда-то совсем еще недавно... Или уже очень давно? Относительность времени...

Однажды, проходя через двор, обрамленный четырьмя серыми панельными пятиэтажками, двор, в котором и сложилась их тесная компания, двор, пространство которого он знал казалось до последней выбоинки на асфальте, до последнего кустика, до последней царапины на покрашенных еще в прошлом веке качелях, пространство, которое как наверное никакое другое место, впитало в себя нескончаемое море запахов, звуков, эмоций самой лучшей, самой наполненной, самой непосредственной части их жизни – детства... Однажды проходя через этот двор Фёдор вдруг уловил неповторимый запах тети Лидино борща, такого борща с тех пор он больше не ел никогда. Хохлушка тетя Лида, мама Витьки Комиссарова, жила на первом этаже. Окна их квартиры летом всегда были полуоткрыты и запах расходился по всему двору.

– А ну гуляки, на заправку – тетя Лида работала на бензо-заправочной станции и профессиональную лексику использовала и дома. И они всей гурьбой, иной раз человек пять или шесть летели на этот аромат ...

Он сказал матери после прогулки:

– Мам, я в нашем дворе опять унюхал тети Лидин борщ.

– Нет уже тети Лиды, уже шесть лет как нет. Сердце...

Дорога до дома Черепановых занимала минут пятнадцать. Это во взрослой жизни Фёдора. В детской ее части на ту же дорогу уходило до получаса и более. В принципе, маршрутов было как минимум три – или через «их двор», потом мимо бывшей станции юных техников, или по Большевикской, потом через двор возле хлебного магазина или третий – через трестовскую хоккейную коробку и аптеку. Все три маршрута были крайне интересны и имели свои привлекательные стороны и свои опасные моменты. Первый был самым коротким и самым безопасным. На втором на задах хлебного магазина, куда подъезжал фургон-хлебовоз, всегда дежурила банда бездомных псов, которые из людей в качестве авторитетов признавали только мужиков и стариков, а детей и женщин облаивали и гоняли регулярно. На третьем маршруте была опасность встретить постоянно собирающихся за гаражами покурить пэтэушников из расположенного неподалеку училища, что было чревато полным опустошением карманов и мерзким чувством унижения, когда эти карманы по-

трошат. Это чувство Фёдор не любил больше всего, поэтому и маршрут этот использовал не часто.

Мать Славки, тетя Аня, приходилась отцу Фёдора старшей сестрой, стало быть, Фёдору теткой. Пятиэтажный кирпичный дом, в котором жили Черепановы, был весьма примечательным – на его первом этаже с одной стороны располагался единственный в городе ресторан, в котором по вечерам допоздна играла музыка, как сейчас бы сказали, «живая музыка» – вокально-инструментальный ансамбль, ВИА, – молодые длинноволосые парни. С другой стороны дома располагалась кулинария, в которой продавались тесто, булочки, пирожки и знаменитые торты «с розочками». Как-то однажды Фёдор со Славкой наблюдали в окно как работницы кулинарии, они их, понятное дело, называли кулинарками, делали эти розочки, выдавливая цветное масло из каких-то кулечков.

Тете Ане соседство с рестораном не нравилось, но дом был новый, место было хорошее, да и менять жильё тогда было не принято.

Тетя Аня была женщина добрая, в детстве она нянчилась с отцом Фёдора и эта ее материнско-сестринская любовь к нему как-то само собой распространилась на его детей – на Фёдора и его старшего брата Сергея. А еще она умела делать котлеты. Собственно, маму делать эти самые котлеты тоже научила тетя Аня – в деревне таких деликатесов не видывали и делать, естественно, не умели.

Еще у Славки были старшие брат и сестра – Тамара и Валерка. Но они жили своей жизнью и общение с ними ограничивалось словами «Привет, Федька».

Главным человеком в семье Черепановых, из-за которого, не считая, конечно, дружбы и общих игр со Славкой, Фёдор, наверное, и ходил в гости так часто, был дядя Паша. Дядя Паша внешне был очень похож на папу Фёдора, такой же кудрявый, с густыми крупными прядями, может повыше на пол-головы, тоже с круглым открытым лицом, он даже одевался почти также как отец, хотя тогда все похоже одевались. И все же при всем этом внешнем сходстве он был другой. Со-всем другой. Дядя Паша был фронтовиком, он был на войне. И у него были ордена и медали. Он был другой. Он не был партийным, он не был начальником, он водил автобус, был таким же работягой, как и большинство его соседей и родственников. Он носил такие же штаны и пиджаки, такое же пальто с каракулевым воротником на выход и такую же телогрейку по хозяйству зимой, но он был другой. У него был другой взгляд.

Они все были другие, фронтовики. Они по-другому смотрели, они по-другому ходили, они по-другому пили, они по-другому любили. Они все делали как будто это в последний раз, но почему-то этого они не боялись. Тогда Фёдор не мог понять, что это такое и как это объяснить. Но он очень быстро научился отличать их, фронтовиков, от других людей, по каким-то непонятным признакам, сформулировать которые

он не мог.

Дядя Паша был настоящий фронтовик. Тогда все фронтовики были настоящие, фальшивых, ряженных фронтовиков быть просто не могло, потому что было с кем сравнивать.

Как-то, в очередной раз, придя в гости, Фёдор столкнулся с дядей Пашей в узенькой прихожей их хрущевки. Дядя Паша вышел из ванной, он был по пояс голый:

– Здорово, Фёдор.

– Здравствуйте, дядь Паш.

Дядя Паша проходя в комнату, повернулся спиной и Фёдор замер – под правой лопаткой дяди Паши зияла темно-бордового цвета яма с Фёдоров кулак величиной, а слева чуть выше поясницы виднелись два небольших продолговатых шрама, похожие на маленькие солнышки – от них лучиками расходились мелкие полоски. Фёдор стоял раскрыв рот, пока его не толкнул зашедший в коридор Славка – «Ну ты чо?». Чуть позже, когда они заперлись в Славкиной комнате, расставив везде своих пластилиновых солдатиков, он наконец собрался спросить:

– Славка, а что это у твоего папки на спине?

– А, да это его ранило, когда его убили.

Тогда Фёдор еще был под впечатлением увиденного и его даже не удивила нелепость этой странной формулировки.

Подробности всей истории Фёдор узнал, когда стал постарше. Дядя Паша женился на тете Ане летом 1944 года, как только ему стукнуло восемнадцать, и сразу после свадьбы

ушел на фронт. А в январе 45-го на него пришла похоронка. Это Фёдору рассказал отец. Пока дядя Паша был на фронте, тетя Аня жила в деревне, в своей семье, с бабушкой, братьями и сестрой. Похоронку принесли в отсутствие тети Ани, ее взяла бабушка. Отец Фёдора к тому времени был тоже уже практически взрослый, в марте 45-го ему исполнялось 17 лет, в семью уже пришло две похоронки, он все прекрасно понимал. «Мама, говорит, села у печки на лавку, и только причитала «Ваня, да как же так, как же так ... Она ведь и не пожила еще за мужем то...». Им повезло, что в этот момент дома никого не было. Про похоронку знали только они вдвоем и бабушка строго настрого наказала отцу не говорить тете Ане про похоронку. Какие потусторонние неведомые силы подсказали бабушке утаить горькую весть, вот и не верь после этого в предчувствия, но в марте дядя Паша объявился в деревне в краткосрочный отпуск после госпиталя. Оказывается, во время разведки боем, а дядя Паша был на фронте разведчиком, его ранило и он упал с брони ушедшего вперед танка. Потом, видимо, он был без сознания и его подобрала похоронная команда. Приняв за убитого у него забрали документы и очнулся он только уже среди трупов погибших солдат. Слава Богу, его стоны услышали, а дальше уже санбат, только другой части, госпиталь, восстановление документов. А из родного полка на него послали похоронку, у них на руках были документы, подобранные похоронщиками, к тому же его товарищи видели, как он упал с танка на

ходу, и были уверены в его гибели.

История как из книжки, но уже в век интернета Фёдор нашёл ей подтверждение в базе данных о потерях, размещенной в сети. Нашел и донесение о потерях, в котором ефрейтор Черепанов Павел Егорович, 1926 г.р., числился погибшим, причем именно во время разведки боем.

А в марте 45-го дядя Паша пробыл дома неделю и снова ушел на фронт. Закончил войну в Кенигсберге, получил за это время орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и за «Боевые заслуги», а в августе того же года вернулся домой. Так что по сути вдовьей доли тетя Аня не испытала, но узнала она об этом только уже через годы после войны. Бабушка, дядя Паша и отец Фёдора об истории с похоронкой молчали, как тогда принято было выражаться, «как партизаны».

Все то время, пока Фёдор знал дядю Пашу, дядя Паша работал водителем рейсового автобуса. Они со Славкой частенько катались с ним по маршруту, пристраиваясь на покрытый стеганой попоной моторный отсек. Автобусы менялись примерно с такой же частотой, как лошади в деревне у Тяти, и Фёдор со Славкой стали давать автобусам клички как лошадям. Потом они даже ходили на «могилу» к одному из автобусов по кличке «Тарантас» на задний двор дяди Пашиного автопарка.

Дядя Паша не боялся никого и ничего. В ту пору в городе хватало шпаны, которая запросто могла темным вечером под угрозой финки опустошить карманы и кошельки рабо-

тяг, возвращавшихся с вечерней или ночной смены. Однажды так обчистили жену дяди Пашиного сменщика. Ухари оказались с соседней улицы. Славка с Фёдором подслушали дяди Пашин со сменщиком разговор и тайком отправились вслед за ними на «толковище». Они спрятались за ближайшими дощатыми сараями, которые тогда были в каждом дворе, и наблюдали все действие от и до. За деревянным столом, за которым по вечерам местные мужики забивали «козла», сидели два явно бывших зэка, которых среди прочей публики даже Славка с Фёдором в свои годы уже отличали с первого взгляда. Дядя Паша сел напротив, достал из внутреннего кармана своего рабочего пиджака здоровенную остро заточенную отвертку и воткнул ее в стол.

– Вот что фраера! Я шофер и это мой инструмент, и поверьте я знаю, как им работать! И если ненароком кто-то из вас попадет мне под руку, я сумею его отремонтировать. Вы вернете все что взяли, а я забуду про ваше существование, и не дай Бог вы дадите мне повод снова вспомнить за вас!».

«За вас...». Как красиво говорил дядя Паша. Такой же уральский мужик, как и все. Где он научился так говорить? Осторожно выглядывая из-за угла сарая, Фёдор внимал каждому дяди Пашиному слову. Так же внимали его словам и уголовники.

– Ошибочка вышла, Павел Егорович! Мы тронули не там и не того! Больше не повторится.

Дядя Паша умер в 76-м. Он был еще и крепок и силен.

Просто остановилось сердце. Он успел свернуть на обочину, остановить полный автобус народу и даже поставить его на ручник. А потом лег головой на руль. Видимо, годы войны съели ресурс мотора старого солдата.

Славке тогда было шестнадцать. Его сестра Тамара уехала учиться, брат Валерка завербовался водителем куда-то на стройку в Сибирь. Тетя Аня не смогла уследить за младшим сыном, он связался с местными уркаганами, в какой-то драке порезал кого-то ножом и загремел на пять лет. После его освобождения Фёдор уже не следил за его судьбой. Славка ненадолго побывал на родине, пожил у матери, много пил, потом, то ли снова сел, то ли как брат тоже завербовался куда-то на север. И пропал. Без отца жизнь Славкина свою колею потеряла.

Глава 9. Тетя Нина

Старшая мамина сестра, тетя Нина, жила, как все говорили, в Астрахани. На самом деле до пыльного степного поселка в дельте Волги от Астрахани было еще километров восемьдесят. Дорога от родного дома до этого поселка осталась в памяти Фёдора отдельными увесистыми ломтями воспоминаний. В эту поездку брать его не хотели. Хотя брату было уже десять, вполне себе самостоятельный пацан, Фёдору семь, осенью его уже должны были собирать в школу, в первый класс, но, видимо, матери казалось, что с двумя сорванцами ей будет довольно хлопотно. Ей ведь и самой, наверное, хотелось отдохнуть не только от работы, но и от порядком поднадоевших забот о доме и о детях. Уже сам став отцом двух непосед, Фёдор прекрасно понимал, что творилось в маминой душе и мозгу.

Были какие-то полунамеки, полупредложения – «тебе надо готовиться в школу...», – а чего там готовиться? – «а может сэкономим и купим тебе новый велосипед?» – тоже не катит, брату Сереге «Школьник» уже маловат, все равно достанется Фёдору. Последнее слово осталось за бабушкой Настей. С образованием в один класс церковно-приходской школы и вековой мудростью, она все душевные метания окружающих, будь они хоть дети малые, хоть ее взрослый сын или сноха, да и другие родственники или соседи,

она все их душевные метания и колебания читала «с листа», как открытую книгу, как свой старый псалтырь в затертом кожаном переплете, который она, похоже, знала наизусть.

Фёдор разговор услышал как бы случайно. Было лето, он вышел из дома вроде, как в их детстве говорили, «побегать», а сам тишком пробрался в малинник, в заросли, в свое укромное место, которое не было видно ни с улицы, не из дома. Окна в доме были открыты, и разговор бабушки и отца с матерью был слышен отчетливо. Фёдор запомнил самое важное:

– А вот, робяты, как вы ему в глаза смотреть потом будете, коли оставите ... Он уже все уши прожужжал – в Астрахань, в Астрахань... к тете Нине...к тете Нине... Нет, робяты, нельзя так с дитем...

Сначала ехали на поезде до Москвы. Это было знакомо. На поезде Фёдор уже ездил с матерью до областного центра, до другой своей тети, тети Нади. Но тогда было совсем неинтересно. Дело было зимой. В вагон сели вечером, за окном быстро стемнело, ничего не было видно. Только редкое мелькание каких-то далеких огоньков, да темная стена тянувшегося вдоль путей леса. На вторую полку его не пустили, там расположился брат, отдельного билета на Фёдора не брали. Ему пришлось спать вместе с мамой на нижней полке. А рано утром уже приехали. Из всех дорожных развлечений был только вкуснейший чай, не из кружек как дома, а из стеклянных стаканов в фигурных металлических подстаканниках, да

походы в туалет, где можно было нажать на педаль и заворожено смотреть, как вода через открывшуюся в унитазах дыру, дышащую морозным воздухом, разлетается мелкими брызгами прямо на мелькающие в этой дыре шпалы. Вот и все развлечения.

В этот раз только до Москвы ехали почти двое суток. Все это время погода благоволила, дни стояли ясные, солнечные, но не жаркие. К тому же у Фёдора было свое отдельное место, причем на второй полке. Упасть он нисколько не боялся, сказалась привычка спать на полатях в деревне у Тяти. Зато можно было открыть верхнюю узкую откидную раму окна и, высунув голову, когда не видела мать, подставлять лицо встречному потоку неповторимо железнодорожно пахнущего воздуха. А можно было выставить руку и опытным путем ощущать, что воздух вовсе не невесом, он тяжел и плотен, почти как вода в Мельнишной, быстрой ключевой, три метра в ширину, речушки прямо под горой, на которой стояла Тятина деревня.

Москву Фёдор почти не видел и почти ничего московского не запомнил. Фактически не выходя с одного вокзала, они на метро переехали на другой вокзал, где и просидели часов шесть до поезда на Астрахань. Только метро еще одним увесистым ломтем осталось в памяти Фёдора. Сначала была ушедшая в пятки душа, когда перед ним лязгнул железными челюстями турникет, закрывшийся вслед за прошедшим через него братом. Мама опустила в щель пять копеек и сказа-

ла «Беги!». Он рванул так, что чуть не врезался в какого-то дядьку, идущего навстречу. Дядька поймал его за голову и улыбнулся так, что показалось – таких как Фёдор и таким же манером он ловит в метро каждый день и не по одному. Потом Фёдор долго не решался ступить на эскалатор, ему казалось, что вот он ступит и опора уйдет из под ног, как тот хлипкий плот на Мельнишной, приспособленный из старой сарайной двери, на котором они катались с братом втайне от Тяти и бабушки. Но там он всего лишь улетел с плота пусть и с головой, пусть и в ледяную, но знакомую и по прикосновению и по вкусу ключевую воду, в которой они, несмотря на все запреты, плескались и бродились почти каждый день. А тут? Куда увезет его эта гремящая жуткая черная лестница? И как потом с нее сойти? Но, собравшись с духом, он крепко ухватился за ползущий черный резиновый поручень и шагнул вперед.

Когда они спустились вниз и он суматошно спрыгнул с эскалатора, страх прошел и Фёдор начал смеяться. Так всегда бывает. Когда опасность мнимая или реальная проходит, приходит немотивированное веселье.

– И совсем не страшно! И совсем не страшно! – прыгал Фёдор, пока мать не взяла его за руку – Пошли уже, храбрец!

Москва, которую Фёдор видел из окна поезда, увозившего их в Астрахань, ему не понравилась. Сплошь какие-то бетонные заборы да некрасивые, в основном, пятиэтажные здания, каких и у них в городе полно. Кремля в окна видно не было.

От Астрахани ехали еще на одном поезде, очень странном поезде. Это была как бы электричка, но без электричества. Ее тянул большой черный, с блестящими боками, как будто смазанный дегтем, паровоз. Вагоны тоже были как в электричке, с вытертыми деревянными лавками, продуваемые, с полностью открытыми, а порой и просто отсутствующими окнами и не закрывающимися дверями. Но самое странное было впереди – на первой же остановке от Астрахани на крышах этих вагонов оказалась куча людей, с чемоданами, с сумками, с какими-то мешками и торбами, с собаками и даже с парой овец со связанными ногами, каким-то образом тоже затащенными на крышу. Паровоз, похоже, большой силой не отличался, шел медленно, дымил нещадно, как будто старый курильщик, у которого уже не хватает легких, чтобы глубоко вдохнуть табачный дым. Дым этот от паровоза черной полосой стелился прямо над крышами вагонов и люди на крышах ехали, то появляясь, то полуисчезая в этом дымном потоке. Да и в окна вагонов эти паровозные выдохи залетали регулярно. Так что, это правда – окружающим всегда достается от курильщиков.

Они вышли на одном из полустанков. Серое, вернее земляного цвета, одноэтажное, кирпичное здание посреди степи, ни одного деревца. На полустанке их ждала старая полуторка и тетя Нина. Фёдор ее никогда до этого не видел, но сразу узнал и понял, как его мама будет выглядеть лет через десять. У тети Нины было мамино лицо, мамина фигура, да-

же мамин голос – только все, ну просто не найти более подходящего слова, все просто постаревшее.

– Маша..., Нина... – они обнимались и плакали, плакали и обнимались. Продолжалось это довольно долго и Фёдору уже хотелось залезть в полуторку, куда-нибудь ехать, и почему-то тоже на глаза наворачивались слезы, но он смотрел на маму, на тетю Нину, потом на брата, тот на него. И Фёдор понял, то, что сейчас происходит, это важно, и он не стал никого торопить, а стал просто ждать. Потом тетя Нина стала обнимать и целовать их с Серегой:

– Какие они у тебя славные, симпатичные, не то что мои татарчата...

Она задержала взгляд на Фёдоре:

– Вылитый Тятя...

Как он мог в свои семь лет быть похожим на Тятю, который уже по всем меркам старик, Фёдор не понимал.

Поселок был приземистый, пыльный и такого же цвета, как окружающая уже высохшая в августе степь. По сравнению с их родным домом, обшитым вагонкой и покрашенным принесенными отцом с завода яркими синей и зеленой красками, и даже в сравнении со старыми бревенчатыми избами в Тятиной деревне, серые мазаные домишки в тети Нинином поселке казались сараями, причем какими то полуслепыми сараями, потому что все похожие на глазницы окна как поволокой были подернуты серой липкой пылью. Но тетя Нина жила не в мазанке, она жила в одном из больших двух-

этажных и, что удивительно в этой безлесной местности, сложенных из деревянного бруса, домов. Квартира у нее была большая – три комнаты, хотя конечно и жильцов в них было немало. У тети Нины было два сына и две дочери – Юрка, которому было уже восемнадцать и осенью он собирался идти в армию, следующая по возрасту Наташа, а затем Толька и Надя. Самая младшая Надя была ровесницей брату Фёдора Сергею.

Все подробности судьбы, приведшей тетю Нину в этот степной поселок, Фёдор узнал потом, когда стал постарше, хотя уже тогда знал, что тетя Нина была медсестрой и, также как Тятя, была на фронте.

Их с Серегой уложили в большой комнате на полу на толстые войлочные матрасы, тоже не привыкать, спали не раз и на полу, и на сеновале. Но уснуть Фёдор долго не мог, он вслушивался в странные звуки, доносившиеся из открытой настежь балконной двери, совсем не похожие на звуки их родной привычной уральской ночи. Как то по-другому, громко и нахально, стрекотали насекомые, по-другому шумел легкий ночной ветерок, приносивший другие неизвестные запахи.

– Я ведь с ним, Маша, с сорок третьего, не расставаясь, почти два года... Он командиром взвода, я у него санинструктором, он комроты, я опять в ротном медотделении, он комбатом, я тоже рядом в батальонном медпункте ...

Тетя Нина с мамой сидели на кухне и говорили. Фёдору

было слышно все, но он временами уходил сознанием в какие-то свои мысли, что-то пропускал, потом слушал опять.

– А тут мы стояли под Балатоном, в Венгрии, это озеро такое. Я уже беременная была Алей, но сама еще не знала, в первый раз ведь. И отправляет он нас с Сашкой, это татарин мой, он у него ординарцем был... Отправляет нас в тыл дивизии, в медсанбат И повод то уже не помню какой... А видно уже знал или чувствовал чего ... А на следующий день на них немецкие танки пошли. В общем, от батареи осталось человек десять. Я даже и не видала как его похоронили и где ... Все без нас с Сашкой. Беда много погибших было...

Алю Фёдор знал. Это была старшая дочь тети Нины, она приезжала к ним в гости пару раз, бывала и в деревне у Тяти. У нее был муж дядя Витя, как Фёдор думал, военный летчик, хотя потом оказалось, что он всего лишь авиатехник, но, тем не менее, капитан, в погонах то Фёдор разбирался, и поэтому Алю и ее мужа Фёдор глубоко уважал. Тем более, что в оба их приезда ему удалось походить в красивой фуражке с голубым кантом.

Месяц в душных астраханских степях пролетел почти незаметно. Фёдор никак не ожидал, что интереснейших занятий в этой безлесной, на первый взгляд, совершенно голой степи, будет так много. Тети Нинина младшая Надька, их двоюродная сестра, оказалось настоящим местным атаманом – целая компания поселковых ребят и девчонок, и русских и черноволосых, почему-то часто кривоногих, смешно

переваливающихся с ноги на ногу при ходьбе, но при этом очень ловких и жилистых, калмычат признавали ее за такую, слушались беспрекословно и соглашались на любую ее авантюру. Мама целые дни проводила с тетей Ниной, помогала ей по дому, по работе в поселковом медпункте, тетя Нина была фельдшером и единственным медиком в поселке. А они были предоставлены самим себе. С утра обычно ходили на волжскую протоку, долго и по много раз купались, вылезать из воды под знойное дневное астраханское солнце совсем не хотелось. Потом, накупавшись, ловили огромных по уральским меркам красноперок, несравнимо больше щуплых лысьвенских ельцов и плотвичек. А пару раз даже вытащили огромных сазанов, килограмма по полтора-два, с чешуей, где каждая чешуйка была величиной с гривенник. Потом жарили рыбу на страшно фыркающем, ужасно коптящем и пахнущем керосином керогазе. И почти каждый день ходили воровать арбузы на близлежащую бахчу. К бахче подбирались как разведчики, ползком по высохшей и поросшей колючками канаве. Вдалеке, посреди бахчи стоял шалашик. Сторож, обычно дремавший в его тенечке, показывался наружу крайне редко. Хотя, как утверждали местные мальчишки, у него даже было ружье и по местной легенде, он вроде бы однажды засадил кому-то зарядом соли в «мягкое место». Впрочем, имя этого страдальца никому известно не было, да и вряд ли бы кто-то признался бы в таком «ранении». Арбузы и Надя, и поселковые пацаны выбирали на раз, неза-

висимо от размера они всегда были спелые и сладкие. Фёдор же при первой вылазке перетрухал страшно, и опасаясь неизвестного сторожа, и переживая за то, что они вроде как «воруют» и за это могут посадить. В результате он схватил первый попавшийся маленький арбузик, который оказался зеленым не только снаружи, но и внутри, за что он и был осмеян всей компанией, впрочем, довольно беззлобно. Еще он с неделю не мог понять, как можно так есть арбузы, не выгрызая до конца оставшуюся на корках красную мякоть, как они это делали дома, и выбрасывать огромные недоеденные ломти арбуза в траву.

После бахчи обязательным был поход в местную пекарню, располагавшуюся в продолговатом, тоже мазаном, но в отличие от других мазанок поселка более белом, бараке на окраине поселка, в котором работала мать одного из калмычат из их компании. Им выносили пару-тройку буханок только испеченного белого неповторимо духовитого хлеба и они, усевшись на скамейках тут же рядом с пекарней в жидкой тени худосочных тополей, ломали горячие буханки руками и уплетали их с крадеными арбузами. Неопишуемая вкусотища! Потом это непредставимое им до того съестное сочетание Фёдор какое то время даже ставил на второе место сразу после жареной картошки на топленом деревенском масле, но постепенно эти ощущения забылись, ибо больше таких арбузов и в таком сочетании он никогда не едал, и после жареной картошки привычное место в его вкусовых пристрасти-

ях вновь заняла грибная жареха.

В тот день все было как обычно. С утра искупались, положили рыбы, потом, пообедав и немного отдохнув, двинули на бахчу. Ну да, от безнаказанности они уже чуток обнаглели. Уже не ползли к бахче по-пластунски, арбузы выбирали не торопясь, громко переговаривались, обсуждая достоинства того или другого кавуна. Когда сторож, оказавшийся сухощавым долговязым стариком со сказочной белой бородой и такими же белыми длинными волосами, выбрался из своего шалаша, они не заметили.

– А вот я вас сейчас, жиздрики!

И дед пальнул в воздух, хотя мог этого не делать, ибо они и без того рванули так, как не бегали никогда. Дальше Фёдор помнил плохо – бежал, перепрыгивал через сухие кусты какой-то колючей травы, ветер свистел в ушах, где-то рядом гулким табуном скакали по степи его подельники... А потом неожиданный полет, удар и темнота.

Он очнулся от резкого неприятного запаха, ворвавшегося в нос. Он узнал этот запах – нашатырный спирт, мама как-то дома протирала им старое помутневшее зеркало. Он открыл глаза.

– Ну вот и слава Богу! Болит головушка то? Ну ничего, жить будешь ... Как же ты нас напугал!

Тетя Нина, поджав под себя ноги, сидела на земле, голова Фёдора лежала на ее предплечье, другой рукой она совала ему под нос ватку с нашатырным спиртом. Напротив, на ко-

лениях с совершенно белым лицом, будто бы она и не провела уже три недели под палящим астраханским солнцем, сидела мать, а вокруг толпилась вся их шальная ватага, Надя, брат Серега, умудрившийся и во время побега не бросить довольно большой арбуз, поселковые мальчишки. Что произошло, Фёдор понимал с трудом. На тете Нине сверху платья был белый докторский халат, а рядом стояла медицинская сумка с красным крестом на боку. Один глаз открывался плохо, ему что-то мешало. Фёдор поднял руку, ощупал голову. Рука наткнулась на тугую марлевую повязку, нависшую как раз над плохо открывающимся глазом. Тетя Нина уже обтирала скомканным пропитанным чем-то бинтом его лицо, и он увидел, что на бинте расплываются тусклые красные разводы.

– Ничего, Федя, ничего, родненький... Все хорошо будет... Сколько же я вас таких перевязала...

Фёдор понял – он ранен! Он ранен! Ранен! Ранен! В голову! Он это видел много раз. В кино. Раненый боец лежит на коленях перевязывающей его медсестры, а она уговаривает его – «Потерпи миленький, потерпи... Все будет хорошо...» А тетя Нина ведь настоящая фронтовая медсестра... А он по-настоящему ранен в голову...

– Теть Нин, я ранен?

– Ранен, ранен, родимый...

Как и что произошло, по дороге домой наперебой рассказывали Надя с Серегой.

– Мы, бежим, бежим... А Федька аж быстрее всех... А потом как запнется и как полетит ... И не встает ... Мы к нему, а он глаза не открывает, на голове кровь ...

Головой Фёдор приложился о какую-то старую ржавую железяку. Плюс до локтя ободрал руку о шершавый степной грунт. В общем, картина была неприглядная. Как потом рассказывали мальчишки, больше всего перепугался брат Серега – он тряс Фёдора за плечи, ревел и кричал: «Федька, вставай! Федька, вставай! Ты чего? Что я маме скажу?»

Первой пришла в себя Надя. Она рванула в медпункт и привела тетю Нину и их маму. При этом, по всей видимости толком объяснить ситуацию она или не смогла или не успела. Что при этом чувствовали тетя Нина и его мама, Фёдор смог себе представить только через много лет, когда однажды в гостях на его двухлетнюю Маришку, игравшую с двоюродной сестренкой в соседней комнате, упал сервант, у которого по какой-то причине сломалась ножка. Грохот, крик... Что с ним происходило в те мгновения, пока он выскакивал из-за стола и бежал в эту комнату, словами он описать бы не смог. Всё, слава Богу, обошлось без травм, но минутами позже зайдя в ванную и заглянув в зеркало, он увидел там такое же лицо, какое-то было у мамы, тогда там в степи.

Спал в ту ночь Фёдор плохо, болела голова, саднила перевязанная рука. И он поневоле опять слушал за полночь кухонные разговоры тети Нины и мамы.

– А вот веришь, Маша, все вспомнила! Тут то я уж дав-

но никого не перевязывала, слава тебе Господи... А с Фёдором прямо как тогда ... После посмотрела, даже гордость какая-то взяла – какая ладная повязка-то. Руки то помнят...

– Сколько же я их перетаскала... А душа все равно болит. С десяток наверно на руках душу отдали ...

Оставшуюся неделю в гостях Фёдор ходил героем – «голова повязана, кровь на рукаве». Дня три, пока не надоело, даже носил руку на перевязи через шею. А после обеда по главной улице поселка степенным, как ему казалось, шагом ходил в медпункт на перевязку. И был уверен, что все местные пацаны ему завидуют.

Все остальное о судьбе тети Нины Фёдор узнал от мамы. Тетя Нина попала на фронт в 1943-м. Она отучилась год в медицинском училище, куда пошла отнюдь не потому, что мечтала стать врачом, а потому что там давали паек и небольшую стипендию, и она могла даже помогать матери, сестрам и братьям в деревне, жившим если не впроголодь, то около того.

В сорок третьем весь выпуск медучилища отправили на фронт. На фронте у тети Нины случилась любовь. Наверно, это объяснимо. Девятнадцать лет, молодая, еще вчера деревенская девушка. Мама говорила, что фамилия того офицера была Виноградов. Им везло, они были вместе почти два года, это много для войны, они дошли до Венгрии. И там, у озера Балатон, он погиб, перед этим отправив в тыл уже беременную, но еще не знавшую об этом, тетю Нину и своего

восемнадцатилетнего ординарца. Этот ординарец, татарин по фамилии Рахматуллин, которого тетя Нина звала Сашкой, хотя у него было какое-то свое татарское имя, стал впоследствии мужем тети Нины. Мама Фёдора говорила – «Они не из любви женились. Из памяти... Но жили ладом...»

Мама видела этого Сашку только один раз. Он умер в 1958 году, в 33 года. Мама спросила тетю Нину – «Отчего он умер?» «– От войны, Маша...»

Они странно умирали, фронтовики. Вроде бы ничем не боля, ни на что не жалуясь, они могли просто уснуть и не проснуться, просто сесть на скамейку и уже не встать, перестав дышать, или на огороде, остановившись передохнуть, оперевшись на черенок лопаты, вдруг осесть на землю, не сказав ни слова, или, как дядя Паша, за рулем, успев увести автобус на обочину и затянув ручник, уйти насовсем.

Однажды уже в 90-х, отдыхая летом с семьей в лагере «Политехник» Фёдор задал этот вопрос старому сухому поджарому профессору, с которым они сошлись на почве игры в теннис. Профессору было под восемьдесят. Из долгих и познавательных послетеннисных разговоров Фёдор знал, что профессор в сороковых-пятидесятых отбыл восемь лет в лагерях, потом был реабилитирован. Что ему пришлось пережить Фёдор в какой-то степени представлял. К тому времени о ГУЛАГе уже много писали и говорили. Надо сказать, что профессор, несмотря на возраст, был отменно бодр и телом и разумом. И однажды Фёдор, собравшись с духом, решился

и спросил:

– Владимир Алексеевич, вы уж меня простите, но я вас очень уважаю, поэтому и спрашиваю. Вот вы прошли лагеря, тем более были там во время войны. Везде было трудно, а там, понятно, еще труднее. Но вот вы до сих пор в прекрасной форме, и умственно и физически. А почему так рано уходят фронтовики? Я не говорю о тех, которые из-за ранений ...

– Я понимаю, о чем ты, Фёдор. У меня тоже младший брат, три года на фронте, ни разу не раненый, ни разу не контуженный, ушел в 45. И я тоже думал об этом. И вот к какой, на первый взгляд, странной мысли я пришел. Мы в лагерях от смерти убегали, стремились выжить – побольше бы пайку, подольше бы отдохнуть, поближе бы к теплу ... Мы от смерти убегали... Тут много решимости не надо ... Инстинкт выжить.

Он помолчал.

– Мы от нее убегали, а они навстречу ей шли ... Против инстинкта ... Понимаешь? Против инстинкта самосохранения. А он есть у всех живых существ. А они шли! Шли навстречу... Может потому и уходят рано ...

И по-профессорски добавил – Такая моя гипотеза!

Глава 10. 9 мая

Каждое 9 мая Фёдор отправлялся к Черепановым сразу с утра под обычным предлогом поиграть с двоюродным братом Славкой, хотя, понятно, что в этот день причина была другая. В этот день, единственный день в году, можно было увидеть все медали и ордена дяди Паши. Остальное время они, прикрученные и приколотые к старой гимнастерке, в которой дядя Паша вернулся с фронта, лежали в дальнем углу самого нижнего ящика старого комода. Конечно, они со Славкой тайком в отсутствие взрослых не раз открывали комод и подолгу разглядывали эти награды. Два ордена, Красной Звезды и Славы, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Никакие юбилейные медали дядя Паша никогда не носил. Даже «За победу над Германией».

Они боялись отцепить награды от гимнастерки, но все равно так хотелось подержать их в ладошке, на весу, ощутить их приятную тяжесть, а еще понюхать. У них был какой-то особый запах, как и у самой много-много раз стираной гимнастерки. Они решили, что и награды и гимнастерка пахнут порохом. Чтобы удостовериться в этом, они даже однажды стащили из дяди Пашиного патронташа охотничий патрон, высыпали из него порох и нюхали то его, то медали, и как сейчас это не покажется странным, безо всякого сомнения

решили, что да, дяди Пашины награды пахнут порохом.

На дворе были 60-е годы. Бывали ли тогда какие-то официальные мероприятия в день Победы, они не представляли. Их день Победы олицетворялся с тем ритуалом, которые они наблюдали каждый год. С утра тетя Аня доставала из комода гимнастерку, подглаживала ее, не снимая наград, и вешала на стул. И так немногословный по жизни дядя Паша, в этот день дома вообще обходился без слов. С утра он в сатиновых трениках и старой майке бесцельно ходил по дому, что на него, никогда не сидевшего без дела, было совершенно не похоже. А около полудня наконец одевал гимнастерку и спускался во двор.

Во дворе их дома было выстроено несколько, как бы сейчас сказали, гаражей, но скорее сараев, где жильцы дома держали кто мотоциклы и велосипеды, кто кур или даже свиней, кто дрова для «титанов» в ваннах, а кто просто складывал туда старые вещи. Между сараями стояла старая большая развесистая береза. Видимо, когда-то во время постройки всех этих дощатых халуп, березу пожалели и оставили в живых. В результате образовался небольшой укромный уголок, закрытый почти со всех сторон стенами сараев и прикрытый сверху березовой кроной. Кто-то поставил под березой стол и скамьи и место это стало крайне популярным у местных мужиков и пацанов.

9 мая это место принадлежало фронтовикам. С дядей Пашей из окрестных домов их собиралось человек шесть. По

имени Славка с Фёдором знали только двоих. Один из них – Костя-инвалид был известен всему городу. Во-первых, потому что он работал на рынке сапожником и всякий, кто приходил на рынок, поневоле проходил мимо его дощатой грубо сколоченной будки, которая стояла у самого входа. А во-вторых, у Кости совсем не было ног. Передвигался он на деревянной обитой сукном тележке, к которой снизу были прилажены четыре подшипника. Передвигался он на ней довольно ловко, чтобы отталкиваться от земли у него были две ободранные деревянные баклажки, и Фёдор не раз с удивлением наблюдал, как Костя-инвалид на своей тележке умудрялся не отставать от здоровых людей, идущих отнюдь не медленным шагом.

Собственно в глаза инвалидом Костю никто никогда не называл, только за глаза, чтобы сразу было понятно о ком идет речь. Те, кто собирался за сараями 9 мая инвалидом Костю не называли вообще никогда. Они звали его «Сапёр». И обращались именно так, а не по имени. Фёдор однажды решил спросить у дяди Паши, а почему «сапёр».

– А он сапёром на фронте был...

– А кто это такие саперы, дядь Паш?

Дядя Паша ответил странно:

– А это те, которые или строят, или взрывают.

Потом добавил:

– Или взрываются ... Вот как Костя...

Другого все звали «Штрафной». Он всегда ходил в пиджа-

ке, а пустой правый рукав у него был засунут в нижний боковой карман. «Штрафной» тоже был по-своему очень ловкий. Одной рукой он умел делать все, доставать из пачки папиросу, зажигать спички, раскрывать перочинный нож, открывать капот машины....

Еще трое были на вид были обыкновенными работягами. Один из них работал на заводе с отцом Фёдора. По имени Фёдор его не знал. Был он невысок, очень худ, медалей у него была всего одна, какая, они издалека рассмотреть не могли, но зато на правой стороне пиджака было три нашивки – две желтые и одна красная. Фёдор со Славкой знали, что это нашивки за ранения – желтые за тяжелые, красная за легкое ранение. При этом и руки и ноги у этого фронтовика были на месте, и что у него были за ранения, пацаны могли только гадать. Спросить у дяди Паши они не решались.

Еще у двоих ни медалей, ни орденов на одежде не было вовсе.

Они садились под березой, застилали стол газетами. «Сапёр» со своей тележки ловко забирался на скамью, никто даже не пытался ему помочь и выглядело это совершенно естественно. Нарезали хлеб, сало, кто-то умудрялся принести первый зеленый лук, наверно выращенный на подоконнике, иногда оставшуюся после зимы банку соленых огурцов. Свежих в те года в мае еще не бывало.

– Ну что, мужики, за Победу!

Никто не говорил никаких речей, никаких красивых, тор-

жественных слов. Они даже не вставали. Чокаясь, сдвигали стопки, потом в один, два глотка выпивали, не спеша закусывали. Наливали вторую. Такой тост тогда был в любом доме, в любой семье – Чтобы больше не было войны! Но странным образом слово война в дяди Пашиной компании не любили и практически не употребляли. Поэтому второй тост здесь звучал по-другому, иногда с небольшой разницей – «Ну, чтобы больше не дай Бог...» или «Чтоб больше никогда...» и всегда как будто недоговаривая. Как будто даже само произнесение слова «война» могло вдруг как-то увеличить ее вероятность.

Только на третий тост они вставали. Хотя, третьего тоста как тоста просто не было. Они выпивали молча, не чокаясь и не одновременно, а как-то вразнобой, как будто каждый вспоминал что-то свое и воспоминания эти у каждого были разной продолжительности. Какое-то время молчали и курили. Понемногу водка начинала действовать и начинались разговоры. Уже как ритуал дядя Паша просил Штрафного:

– Штрафной, ну давай, скрути мне как ты умеешь.

У дяди Паши для этого случая всегда была припасена пачка настоящей махорки. Штрафной удивительным образом умудрялся одной рукой на столе, а иной раз для хвастовства прямо на колене, скрутить «козью ножку» и вся компания передавая сигарку по кругу с удовольствием затягивалась крепким густым, как низкий утренний туман, махорочным дымом, забористый дух которого доходил даже до затаившихся за гребнем сарайной крыши Фёдора и Славки.

Потом начинались разговоры, перемежаемые «ну еще по одной». По первости, Фёдор со Славкой все надеялись услышать что-нибудь про бои, «про подвиги», но потом поняли, что ничего подобного не будет. Разговоры сводились к воспоминаниям о госпиталях, о госпитальной кормежке, о несуразных ранениях, о симпатичных молоденьких медсестричках, стыдившихся неприглядной наготы израненных мужских тел, о жлобах старшинах, зажимавших пайки, НЗ и новые валенки или полушубки, о том как и где лучше строить теплые и надежные блиндажи, какие повара лучше – грузины или узбеки... И ни слова об оружии, о достоинствах и недостатках автоматов или пулеметов, танков и пушек, наших или немецких, или американских, такие тоже в нашей армии были по лендлизу, Фёдор это слово знал. Прошедшие пол своей страны и пол-Европы, побывавшие за годы войны в таком множестве мест, видевшие столько рек, гор, лесов, даже морей, деревень, городков и сел, столько, что за все послевоенное время они не видели и десятой, а может и сотой части такого разнообразия жизни, они обсуждали не то, как, с каким напряжением сил и воли они защищали или отбивали у врага эти населенные пункты, а то, как жили люди в этих местах, их вид, их быт, какие хлипкие хаты на Украине, какие ухоженные поля в Прибалтике, какие прямые и ровные дороги в Германии Они говорили о чем угодно, только не о войне.

Но и этот разговор был несвязным и рваным. Они много и

подолгу молчали, думали каждый о чем-то своем. Но в молчании этом не было никакой неловкости, никакого напряжения, никакого ощущения, что молчание это от того, что им нечего друг другу сказать. Им как будто особо не надо было друг другу что-то говорить, как будто они знали друг о друге все. Как будто они выросли вместе с малых лет, и у них не было друг от друга никаких тайн. Они были как братья...

Засарайные посиделки всегда заканчивались одним и тем же. Разливалась по рюмкам последняя водка, дядя Паша скручивал последнюю сигарку и обращался к Штрафному:

– Штрафной, ну давай повесели, расскажи, как там тебя оперировали? Уже год не слышал, забыл...

И Штрафной начинал историю, про то, как в полевом госпитале, Фёдора всегда интересовало, откуда такое название, значит, бывают еще лесные госпитали или горные, про то, как в полевом госпитале у него, у Штрафного, молодая женщина-хирург доставала осколок из паха и как он переживал, чтобы ему не отрезали чего лишнего. Из этого рассказа Фёдор впервые узнал, что главные признаки мужского человеческого существа совсем не обязательно называть унижительным, как ему казалось, словом, созвучным с процессом «писать» или уже известными им нецензурными терминами, а можно назвать просто «причиндалами». Определение это ему очень понравилось и пользовался он им впоследствии при любом подходящем случае.

Рассказом Штрафного посиделки заканчивались. Дядя

Паша вставал:

– Ну что, мужики, будем жить дальше. Без команды не умирать ...

Пустые бутылки отдавали Косте-инвалиду. Бутылок было много, но пьяных не было совсем.

Когда дядя Паша приходил домой, Фёдор со Славкой уже играли в своих пластилиновых солдатиков. Дядя Паша снимал гимнастерку, аккуратно складывал ее конвертом и сам клал в дальний угол нижнего ящика комода. Потом надевал старую майку, выходил на балкон и долго курил. И, кажется, в этот день больше не говорил ни слова.

Глава 11. Компания

Как и когда они сошлись, объединились, скорешились в эту компанию Фёдор не помнил. Все произошло как-то само собой. Между четырьмя панельными типовыми домами-новостройками неизвестно чьими усилиями построили простенькую хоккейную коробку. Залили лед и каждый вечер на коробке начались жаркие баталии. Порой поиграть даже стояла очередь. Играли до трех голов. Команды поначалу складывались стихийно, потом кто-то отсеивался, приходили другие, но уже после первой зимы сложилось несколько мальчишеских компаний, интерес которых не отграничивался только хоккеем.

Играли в войну, в футбол, ходили в лес, рыли блиндажи, строили «штабы», выпиливали из досок пистолеты и автоматы, строгаи мечи, мастерили луки и стрелы – интересных и увлекательных занятий было много.

Точно также со сражений на хоккейной коробке сложилась и их компания, началась их дружба, постепенно превратившаяся из простого желания общения в потребность. Фёдор знал, что когда он собирался на лето в деревню, или позже, на несколько недель в пионерский лагерь, главным его сожалением было лишиться этого практически каждодневного общения с его пацанами.

Их было четверо. Пятым в их команде был круглолицый,

рыжий и веснушчатый Аркашка Обухов, года на два или на три помладше. Рассказ о нем немного уводит в сторону, но он стоит того. Сочно-рыжий и веснушчатый Аркашка присоединился к ним в основном только на хоккее или футболе. Но притом, что он был самый младший, в хоккее Аркашка играл лучше всех во дворе. Он играл лучше всех и больше всех. Когда бы Фёдор не приходил на коробку, Аркашка был уже там, как бы поздно Фёдор не уходил, Аркашка там еще оставался. Даже если на коробке не было никого кроме него, Аркашка долбил шайбой в борта или бросал с разных позиций по воротам, или нарезал круги на коньках. Он один из первых во дворе встал на коньки и освоил их так, что сбить его с ног было почти невозможно. Да, собственно, кроме хоккея другие занятия их компании Аркашку не интересовали. Да и в хоккее он играл с ними не так долго – года три. Потом его где-то заметили и пригласили в хоккейную секцию на стадионе «Бумажник». С тех пор пацаны видели его довольно редко. Точно также как раньше на коробке, рыжий Аркашка теперь пропадал на стадионе. Как-то зимой возвращаясь довольно поздно с тренировки, он занимался лыжными гонками, Фёдор проходил мимо хоккейной коробки «Бумажника» и услышал характерные звуки торможения коньков об лед и удары шайбы о бортик. На коробке было двое – Аркашка и дядя Толя Гирт. Дядя Толя Гирт был тренером «Бумажника». Сухой, жилистый немец. На бумкомбинате его знали и уважали все. Есть такое выражение – «он

был мастер на все руки». Дядя Толя Гирт был «спортсменом на все руки». Да и «на ноги» тоже. Он тренировал и хоккейную и футбольную команду комбината, бегал за комбинат эстафеты, и бегом и на лыжах, поднимал штангу и гири, играл в волейбол. А еще он очень мало улыбался, хотя все его считали очень добрым. Он никогда и ни на кого не поднимал голос, знал на стадионе по имени-отчеству всех от директора до дворника и последней уборщицы. Вообще-то, как сказали однажды Фёдору по «большой тайне», дядю Толю Гирта на самом деле звали «Адольфом Фридриховичем», но по известным обстоятельствам так его никто и никогда в лицо не называл, а для всех он был Анатолием Фёдоровичем.

Дядя Толя Гирт в теплой меховой летчицкой куртке и в таких же летчицких унтах, стоял у бортика, а Аркашка нарезал круги и зигзаги между несколькими брошенными на лед валенками и раз за разом бросал по воротам разложенные в разных местах шайбы. В темноте, царившей за пределами коробки, Фёдора видно не было и он, незамеченный, несколько минут стоял, наблюдая за происходящим. Больше всего его поразило лицо дяди Толи Гирта. Дядя Толя улыбался широкой и счастливой улыбкой. Таким его Фёдор не видел никогда.

Да, рыжий Аркашка стал настоящим хоккеистом. Из «Бумажника» его забрали в хоккейный интернат в Кирово-Чепецке, а потом он стал чемпионом мира, пусть среди юниоров, но зато дважды. Один из чемпионатов проходил в Ле-

нинграде, они смотрели матч по телевизору в фойе студенческой общаги. Аркашка забил буллит и Фёдор был дико горд, хватал всех за плечи и орал – «этот парень с моего двора». Потом Аркашка долго играл за команды высшей лиги. Уже в 2000-х Фёдор нашел его в интернете и сразу узнал на фото, хотя прошло больше сорока лет. Аркашка тренировал юношескую хоккейную команду в Твери. На фотографии он стоял у бортика и наблюдал за игрой своих мальчишек. А на лице его была точно такая же улыбка, какую когда-то давно темным зимним вечером Фёдор увидел на лице дяди Толи Гирта.

Дядя Толя Гирт уехал в Германию в начале 90-х. Вернее, как говорили, сам он ехать не хотел, его увезли. Жена и дети. Потом от кого-то из уехавших немцев пришло известие, что через пару лет после отъезда он умер. Фёдор не поверил. Дядя Толя все жизнь занимался спортом, никогда и ни на что не жаловался. У него, несмотря на занятия спортом, похоже даже травм никогда не бывало. От чего же он мог умереть? Если только от тоски. Немец умер от русской тоски...

Да, все-таки одного настоящего хоккеиста их пятерка воспитала. Для остальных хоккей остался тем, чем он и был для них самого начала. Возможностью общения.

Только Белкин на хоккее любил сражаться – толкаться, прижимать противника к борту, проводить силовые приемы, а по-простому – драться. Он со всей силы лупил по клюшкам, изо всей силы бил по шайбе, от него никогда нельзя бы-

ло получить мягкого удобного паса. Даже пас его надо было укрощать.

Андрюха Петровский играл в противоположный хоккей, сейчас бы сказали интеллигентный. Он красиво обводил, принимал какие-то, как любят говорить в репортажах спортивные комментаторы, нестандартные решения, отдавал мягкие удобные пасы. Смешно конечно сравнивать их хоккей и хоккей сборной, но Фёдору игра Игоря Ларионова всегда напоминала Андрюху. А когда наши играли где-то, то ли на чемпионате мира, то ли на чемпионате Европы и Ларионов, зайдя в зону, мягко отдал пас между ног назад накатывавшему Сергею Макарову, Фёдор отчетливо вспомнил, как однажды точно также ему оставил шайбу Андрей. Разница только в том, что Фёдор накатывать не мог, он не накатывал, он набегал, потому что играли они в валенках, коньки у всех появились намного позже.

Лева Гурович играл в правильный хоккей. Когда шайба была у Левы и кто-нибудь уходил в отрыв, то пас он отдавал всегда и очень точно. Когда атаковал противник, можно было не опасаться, что Левы вдруг нет на том месте, которое ему определили, он уже был там. Он не ходил в авантюрные обводки, как Аркашка, не бросался в жесткую толкотню у борта, как Толька Белкин, не импровизировал как Андрюха, но то, что он делал на коробке всегда было самым правильным из всех предсказуемых решений и делал он это всегда хорошо.

Так сложилась их компания. Очень скоро одного хоккея стало не хватать. Они всей компанией по очереди гоняли на старом Толькином мопеде, ходили есть пельмени и блины домой к Фёдору, перечитывали одни и те же книги, которые приносил из их домашней библиотеки Андрей, слушали одни и те же песни на Левином магнитофоне. Если кто-то из них почему-то не мог пойти в кино, остальные отказывались от похода. Если на лыжах – только вчетвером, на великах на Боровицу – только вместе.

Так их общение стало для каждого потребностью. Что это было, если не дружба?

Глава 12. Поляна

Эту поляну он присмотрел случайно.

Смешно сказать, но тем летом в июне он умудрился заболеть жуткой ангиной. Исключительно по собственной дурачости. Они с Вовкой Снегиревым вдвоем побежали большой кросс. Как сказал тренер – «Часа на два, без километража!» Вот они и дунули по любимой лесной дороге, которая, как принято писать в книгах, «затейливо» извивалась по лесу вдоль Боровицы, то уходя в сторону, то снова приближаясь к реке. День был душный, солнце вроде бы и чуть прикрывалось какой-то бесстыдной еле видимой дымкой, но бежать было тяжело. Пот лился обильно и на обратном пути они забежали на ключи, недалеко от моста через Боровицу. Ключей в этом месте было много, маленьких и больших, они прятались в разросшемся густом ивняке. К одному из них, побольше, в месте выхода которого на поверхность образовался омуток метра в два в диаметре и метра полтора глубиной, вела натоптанная тропинка. Возле омутка стояла самодельная грубо сколоченная скамейка, а в воду спускались деревянные ступеньки с такими же грубо обструганными самодельными перилами с левой стороны.

Вода в омутке была исключительно чистая и холодная. Ключи били из известнякового пригорка и на дне омутка местами были видны белые известняковые фонтанчики.

И вроде бы Фёдор и собирался только лишь умыться и ополоснуть рот, но случайно сделал глоток, а потом непрозвольнопил, пил и пил эту невероятно вкусную воду.

На другой день он слег. Миндалины раздуло, они покрылись белым налетом, температура сдурела до 40. До этого ангиной он никогда не болел и очень перепугался. Мать вызвала врача на дом, и Фёдор перепугался еще больше, когда после осмотра уже из другой комнаты он услышал голос врача, разговаривавшего с матерью:

– Ангина сильная. Надо лежать. Можем забрать на недельку в стационар.

Последнее слово напугало Фёдора больше всего и он с облегчением вздохнул, когда мать ответила:

– Жалко парня, лето все-таки. Ничего, и дома полежит. Бабушка присмотрит.

Фёдор пролежал дня два, потом полегчало, лежать стало скучно. Благо бабушке Насте слово «режим» было незнакомо, она и сама хворать долго не умела, как только немощь чуть отпускала, ее крестьянская натура требовала вставать и идти что-то делать по дому. Поэтому как только Фёдор отлежался и, дождавшись ухода родителей на работу, отправился на улицу, бабушка сказала одну привычную фразу – «Ну вот и слава Богу».

Все дворовые друзья были в разъездах – кто в пионерском лагере, кто в деревне у дедушки с бабушкой, кто-то даже уехал на «юга», поэтому дома тоже было скучно. Спустя еще

дня три Фёдор собрался на тренировку. Через пару недель вся их лыжная секция на полтора месяца отправлялась за город в спортивный лагерь, а пока тренировки еще продолжались в лесу недалеко от их базы, там, где зимой они прокладывали лыжные трассы. Летом они бегали кроссы, делали имитацию лыжного хода с палками в крутые подъемы по склонам поросшего сосняком длинного лога. Как раз на такую тренировку с имитацией Фёдор с ходу и попал, придя в первый раз после болезни. Тягун был крутой и довольно длинный – метров триста. Его надо было пройти после кросса с ходу с палками, имитируя попеременный ход. Обычно Фёдор преодолевал этот тягун «на мах», поэтому он совсем не ожидал того, что произошло с ним в этот раз. Да, бежать было несколько тяжелей, чем обычно, но ничего, такое бывало после перерывов. Но уже в начале тягуна сердце почему-то стало стучать все сильнее, поначалу Фёдору даже пришли на ум слова «сердце рвется из груди», но потом стало не до шуток, он вдруг почувствовал, что не успевает дышать, воздуха ему не хватает, в горле встал ком, в глазах потемнело и на середине тягуна он вдруг упал, и какое-время не понимал где он и что с ним. Его за подмышки поднял с земли Вовка Снегирев и по напуганным Вовкиным глазам Фёдор понял, что тот испугался не меньше его. Вовка помог сесть:

– Ну ты чего? Ну ты как? Я щас, я щас, Лексаныча позову, – и убежал.

Фёдора била мелкая дрожь, в глазах были круги, его под-

ташнivalo и очень хотелось плакать. Нет, не плакать, зареветь, очень хотелось зареветь, зареветь навзрыд, потому что ему было просто плохо, очень плохо физически и еще хуже от того, что он не понимал, что с ним такое происходит. Ведь он бегал это тягун сотни раз.

Он еще не ревел, но слезы мутной пеленой стояли в глазах и Лексаныча, подымающегося из лога, он увидел не сразу. Он не знал, что ему сейчас скажут, Лексаныч был строг и порой довольно грозен, когда распекал своих учеников за лень или еще за какие-нибудь грехи, и Фёдор с какой-то внутренней дрожью ожидал услышать какие-нибудь слова упрека, типа, «Ну что же ты, слабак! Мы же этот подъем делали тысячи раз». Но Лексаныч подошел молча, сел рядом, потом неожиданно обнял за плечи и прижал к себе. И тут Фёдора прорвало. И он заревел навзрыд, захлебываясь от слез и соплей, ежесекундно кашляя, сморкаясь и подвывая.

– Ну, а как ты думал, сынок!

Лексаныч первый раз назвал его так. Даже отец сынком его никогда не называл. Почему-то от этого слова Фёдору сразу стало легче, количество слез и соплей резко уменьшилось, дрожь прошла. Потом, по жизни Фёдор много раз убеждался в том, как много силы в обыкновенном слове, вопрос только, как и когда его сказать. Лексаныч приобнял его покрепче.

– Ты не переживай, дядя Фёдор, болезнь, она штука жестокая, бьет сильно и не жалея. И подниматься тяжело. Но

все пройдет, хотя не сразу. Со мной тоже такое бывало и не раз. Когда-то я из-за такой же ситуации в сборную не попал.

Лексаныч глубоко вздохнул.

– Сейчас девчонки побегут. Ты ведь не хочешь, чтобы они тебя увидели в таком виде? Давай вон туда в лесок. Отдохни. А потом, если силы будут, попробуй еще. Только не топясь, с перерывами.

В этом месте на склоне лога сосны росли чуть погуще и Фёдор решил зайти подальше, чтобы его не видели работающие тягун ребята. Хотелось куда-нибудь присесть и он искал место поудобней. Поляна была удивительной. Ровный геометрический круг посреди леса, метров десять в диаметре, без кочек, без сушняка, с поросшей короткой травой и местами еще зеленым, но сухим мхом, поверхностью. Но самое главное – точно посередине этой поляны стоял крепкий сосновый пень. Срез его был абсолютно ровным и пень напоминал старый круглый стол в большой комнате дома у Фёдора, разве что чуть меньше. Еще более удивляло то, что пень этот был в диаметре заметно, в разы, больше всех окружавших поляну сосен. Было такое ощущение, что когда-то посреди поляны стояла огромная, такая огромная сосна, что другие деревья просто боялись подойти к ней поближе. Боялись или из уважения, или из понимания того, что великану и места надо побольше. От того и образовалось вокруг этого дерева такое ровное и пустое пространство. Высотой пень был тоже не ниже стола, сидеть на нем было неудобно и Фёдор

присел, а потом прилег рядом, на мягкую теплую траву. Он смотрел в небо, на пушистые медленно плывущие белые-белые на голубом кучевые облака, потом облака остановились, он закрыл глаза, а потом он где-то был. Не спал, а где-то был. Где-то, где ему было хорошо и спокойно. Сколько это продолжалось, он не знал. Видимо недолго. Потому что потом он встал, пошел и не торопясь сделал этот тягун. Лексаныч был еще там наверху. Он похлопал Фёдора по плечу и сказал два слова, которые все его питомцы мечтали услышать от тренера хотя бы всего раз. Он сказал:

– Будет толк.

Потом на поляну Фёдор приходил много-много раз. И когда они здесь тренировались и просто так. А еще они с пацанами первый раз отметили здесь самостоятельно День Победы. Сколько им тогда было лет? Лет по двенадцать-тринадцать.

Он хотел, чтобы в этот день все было как у дяди Паши за гаражами. Денег со школьных обедов он поднакопил, думал купить лимонаду, какого-нибудь печенья, но потом понял, что это будет совсем не то. Надо, чтобы напиток был невкусный, лучше горький, чтобы после него кривило рот и хотелось чем-нибудь заесть, он не решался сказать «закусить». Понятно, что о спиртном речи не шло, да и где его было взять? Впрочем, нет, это проблемой не было – Толька Белкин уже предлагал однажды спереть и попробовать самогон, который регулярно и помногу гнал его отец. Толька уве-

рял, что отец ничего не заметит, а если заметит, то подумает на старших братьев. Они тогда конечно отказались от этой авантюры, но Толька похоже задуманное исполнил, потому что у него вскоре появился красивый новый складной нож с перламутровой зеленоватой ручкой. Была у него страсть к ножам. Фёдор был уверен, что Толька выменял его у мужиков на сташенный у отца самогон.

Еда, то есть закуска, тоже должна была быть простой и грубой. Конечно, хорошо было бы взять банку тушенки и потом есть ее прямо из банки ножами. Но Фёдор решил остановиться на более простом решении – он отхватил дома полбуханки черного хлеба, добрый кусок соленого сала, взял луковицу, граненый стакан и четыре такие же граненые, но поменьше размером, стопки. Потом навел клюквенного морса, но сахар в него класть не стал, если не будет горьким, как водка, то пусть будет хотя бы кислым.

Очередное 9 мая было солнечным, но прохладным. Они уложили в рюкзак все свои припасы и отправились на поляну. Пень-стол накрыли газетой, нарезали хлеба, лука и сала. Потом Фёдор налил полстакана морса, накрыл его кусочком хлеба с салом и поставил в стороне. Чтобы все было как у дяди Паши за гаражами. Это для тех, кто не пришел, кто не вернулся. Ведь у них у всех были те, кто не вернулся с войны. У Фёдора двое дядьев, у Тольки – дед, у Левиного отца, как оказалось, где-то на Украине пропали родители, братья и сестры, жившие там до войны. И отец Андрея, погибший

уже после войны, вроде бы с неё и вернулся, но ведь он все равно ушел рано из-за неё, из-за войны.

– Ну, за Победу!.

Они налили по полстопки морса. Как надо пить все уже знали. Надо резко выдохнуть и выпить залпом, желательно одним глотком. Потом медленно выдохнуть, понюхать рукав рубахи, закусывать сразу не надо. Кислый морс заставил скривить рты, совсем как у мужиков после водки. Они отломали по кусочку хлеба, взяли по ломтику сала, кольца порезанного лука и стали не торопясь, «степенно», есть, исполненные важностью ритуала, в котором они участвуют.

Второй тост был тоже традиционным, как у дяди Паши за гаражами:

– Ну чтобы больше никогда не было войны!

Вообще, этот тост им казался очень странным, они все были глубоко уверены, абсолютно уверены, что войны больше не будет, просто потому что ее больше не может быть. Ведь фашистов всех перебили, на Земле остались одни нормальные люди, а разве нормальные люди будут воевать между собой? Ну и что, что у них капитализм, а у нас социализм (конечно же, различия между этими понятиями они не представляли), но ведь те же американцы и англичане были союзниками. Они даже когда-то видели в документальных кадрах, которые в обязательном порядке крутили перед кино, как наши солдаты обнимались с американцами где-то на реке с названием Эльба. Вся эта телевизионно-газетная кани-

тель с ядерными бомбами и ракетами, с проклятыми агрессивными империалистами дошла до них потом. А тогда они свято верили, что войны точно никогда больше не будет. Это было даже немного грустно. Все дети мечтают о подвигах, а где их совершать, если войны не будет? Осознание того, что война это еще и страх, и горе, и грязь, ко всем людям приходит поздно, слишком поздно, тогда, когда это касается их непосредственно. А к тем, кого это не коснулось, порой не приходит никогда.

Третий тост просто третьим тогда никто не называл. Но у дяди Паши, там за гаражами, его всегда пили молча, не чокаясь, и даже без слов было понятно, что пьют за тех, кто погиб.

– Чтобы за вас не пили третий – Фёдор первый раз услышал от прапорщика, который сопровождал тело Андрея Петровского.

На поминках уже крепко поддатый прапорщик, похожий на старшину Васькова» из «Зори здесь тихие», подошел к их поредевшей компании с полной стопкой и именно так и сказал:

– Ну что, пацаны, чтобы за вас никогда не пили третий.

Потом они пели военные песни, несмотря на то, что певцы они были аховые. Даже Лева, у которого дома стояло блестящее коричневое пианино, попадал в такт, не сказать, чтобы очень здорово. Но песни, военные песни они тогда знали все. «Вставай страна огромная!», «Землянка», «Эх дороги!»

... «Дня победы» тогда еще не было, но военных песен было много. Только почему то «Синенький платочек» их компания никак не могла отнести к военным песням. Приговор «платочку» поставил Толька Белкин – «так это же про любовь, а не про войну». Насколько эта песня все же про войну, Фёдор понял только много позже, когда возвращался из командировки «оттуда».

9 мая на Поляне стало их традицией. Никогда и никому об этой традиции, совсем не сговариваясь, они почему-то не рассказывали. Это была их общая маленькая тайна.

Глава 13. «Ребятишкам хотелось под танки»

Все самые новые и необычные вещи в их компании первыми появлялись у Левы, точнее в его семье. Отец Левы, Абрам Маркович, по работе частенько ездил в Москву и всегда привозил оттуда какие-то штуки, которых в городе, или, по крайней мере, в их окружении до этого не было ни у кого. У Гуровичей у первых появился телевизор и поначалу они, пацаны, всей компанией каждый вторник в 7 часов собирались у Левы, чтобы смотреть «сказки», слова «мультики» тогда еще не знали. Они рассаживались рядком на еще одном уникальном по тем временам предмете – раскладном диване. Алла Борисовна, Левина мама, наливала всем чай в красивые цветастые чашки, которые было очень страшно брать в руки из-за боязни разбить, потому что все мальчишки знали, что это «чешский фарфор». К чашкам всегда прилагались блюдца, которые, по большому счету, им никогда не пригождались. Еще у Гуровичей к чаю всегда было печенье, такое необычное печенье, маленького размера в расписной жестяной коробке, похожей на коробку из-под монпансье, только намного больше. Такого печенья, сколько он потом не выглядывал его в магазинных витринах, Фёдор больше нигде не встречал.

У Гуровичей Фёдор первый раз увидел холодильник. У них в доме холодильник был самодельный. Зимой, все, что требовало заморозки, держали просто на холодной веранде. А весной в подвале под домом дощатый ларь набивали последним еще не растаявшим снегом, утрамбовывали его, превращали почти в лед, потом засыпали опилками и этот «холодильник» работал почти до осени. Хотя, собственно и хранить в нем особо было нечего.

И магнитофон и проигрыватель пластинок первыми тоже появились у Гуровичей.

А где-то в середине 70-х Лева пришел на вечерние посиделки в их «штабе» с кассетным магнитофоном «Весна». Кассета была одна, и, по всей видимости, уже далеко не первой молодости. Лева упер ее у старшей сестры. Что они тогда слушали, сейчас, наверное, не вспомнил бы никто. Но они прослушали ее от начала и до конца с десятков раз, если не больше. Они не были, как сейчас говорят, меломанами, им был интересен сам процесс. Потом Лева стал где-то добывать новые записи и они уже стали различать всякие ВИА, а однажды как-то даже неожиданно все загрузили под странную нерусскую песню, где в припеве все тянули «гё-ё-ё-о-л». Они даже не знали, что это был английский язык, в школах их городка тогда изучали только немецкий, они не знали такого слова «Битлз», они вообще очень многого не знали и не могли знать, потому что все это, чего они не знали, существовало где-то в другой реальности, редко соприкасавшейся с

их жизнью. А потом Лева принес кассеты с Высоцким и они заболели им. Этот хриплый голос проникал, казалось, не в уши, а куда-то во внутренности. Наверное, именно про это и говорят порой – «слушать сердцем». Вот здесь они все слова уже знали наизусть и, также, как ту самую первую, могли крутить кассеты по многу-многу раз. «Вздых глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре...» Кассета с Высоцким стала в их компании лучшим подарком, пусть даже у тебя еще и не было своего кассетного магнитофона. Эти песни не были похожи ни на что из того, что они слушали до этого, ни голосом, ни интонацией, ни формой, ни смыслом того, о чем он пел. Он «пел душой», они «слушали сердцем»...

Тот день Победы для них был особым. Всем уже исполнилось по пятнадцать, ну почти всем, Толька Белкин был июньским. И они решили первый раз встретить праздник как настоящие взрослые мужики – со спиртным. Толька опять предложил стащить у отца бутылку самогона – «он их все равно не считает», но все же решили, что для начала самогон штука слишком крепкая. Двор их видел последствия употребления белкинского самогона неоднократно. Толька спорил – «что мы не мужики?», но на вопрос – «поблевать захотелось?» – ответа у него не нашлось, и он предложил другое решение – самогон все же стащить и обменять его у мужиков на портвейн. Все это Толька брал на себя и на этом порешили.

Толька должен был обеспечить спиртное, Фёдор закуску

и «запив», Лева – магнитофон, а Андрей на день победы всегда приносил отцовскую пилотку, которую все надевали ненадолго по очереди.

У Тольки Белкина операция по обмену самогона прошла удачно и он водрузил на пень-стол целых две бутылки с тремя большими семерками на этикетках, в народе этот продукт имел условное название «Три топора». Лева «подбодрил» свою кассетную «Весну» шестью новыми батарейками.

Поначалу все было как обычно. Выпили первый за Победу, второй – «за то, чтоб больше не было войны...», молча третий. Портвейн пился гораздо лучше, чем кислый клюквенный морс. Он был сладковатым, с приятным вкусом и ароматом каких-то непонятных заморских фруктов.

Они раскупорили вторую бутылку «Трех топоров». Выпили еще, включили Высоцкого и даже бодро попрыгали под его «Утреннюю гимнастику». Добавили еще по одной «за здоровье!» Потом просто сидели и молча слушали. Каждый думал о чем-то своем.

Поначалу каких-либо особых изменений в поведении друзей Фёдор не замечал. Самого его немного повело в сторону, когда он встал, чтобы сходить в ближайшие заросли «помалому», но он не обратил на это особого внимания. Он немного с опаской ожидал какой-то внутренней реакции организма на столь непривычный для продукт, как портвейн, но, в общем-то, чувствовал себя довольно комфортно и как, как ему казалось, совершенно обычно. Тем неожиданней для

него оказалось, когда до этого безмятежно сидевший на земле Толька вдруг вскочил, зарыдал, сглатывая непонятно с чего появившиеся слезы, и внезапно осипшим голосом стал повторять:

– Ну а мы, а мы... Мы смогли бы?

Сначала они ничего не могли понять. Лева выключил магнитофон, они окружили Тольку, положили руки на его вздрагивающие от рыданий плечи.

– Толян, Толян, ты чего?

– ... Я тоже хочу... Тоже хочу....

– Чего хочешь? Куда хочешь? Толян, блин, объясни наконец ...

– Я тоже хочу под танки...

Фёдор все понял. Вообще-то, эта «Баллада о детстве» не была у него самой любимой, просто потому что нелюбимых им песен у Высоцкого не было. Но многие отдельные строчки из этой песни он помнил наизусть. «А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки...». Именно над этими строчками сейчас рыдал Толька Белкин.

Толька успокоился и затих. Они немного напуганные этим неожиданным, непривычно бурным выплеском Толькиных чувств, сели кружком.

– Ты чего это вдруг про танки, Толян?

Толька уже без рыданий, но все равно горячо и торопливо, и почему-то полупшепотом, хватая их за руки, заговорил:

– А вот сижу, сижу, слушаю, слушаю... И вдруг подумал –

а вот мы смогли бы так? Под танки? Как они... Не те пацаны, которые в песне, а солдаты... Ну тот же Матросов! Ну пусть он не под танк, а на дзот... Нет, ну смогли бы мы...? Надо же встать, ну или ползти, ну или просто не уйти, когда везде стреляют, когда на тебя танки... Тот же Ладкин наш... Он же тоже от пушки не ушел...

И чуть помолчав, он обвел их глазами, и почему-то остановив взгляд на Фёдоре, полуутвердительно, полувопросительно добавил:

– А смерти ведь все боятся... Так ведь?

Долго сидели молча. Первым заговорил Лева:

– Только мы ведь никогда об этом не узнаем. Сможем мы или сможем... Войны точно больше не будет.

– Это да...

В том, что войны больше не будет, были уверены все.

Больше они об этом не говорили. Говорили обо всем и не о чем, но не об этом. Посидели еще с часок, уже понимая, что «Три семерки» оставили заметные следы на их лицах и поведении, и появляться в таком виде дома вряд ли стоит. Поэтому прибирались за собой на поляне не торопясь. И только в последний момент перед уходом, надев набекрень переходившую весь день с головы на голову отцовскую пилотку, Андрей вдруг сказал:

– А все-таки, если не встать, то как потом жить ...

Звучит как вопрос, но это не было вопросом. Это было утверждение.

И опять они все с ним согласились, не произнеся вслух ни слова...

Глава 14. Толька Белкин

У Тольки Белкина отец был партийным. Никто никогда не говорил – он коммунист. Про членов партии все говорили – партийный, даже чаще звучало так – «партейный». И все было понятно. Вот она эволюция языка. «Партейный»! Это когда-то очень распространенное в обыденной речи слово практически исчезло из употребления. За последние 30 лет Фёдор слышал его лишь изредка, пожалуй, только в рассказах отца, матери, тестя с тещей или их ровесников.

В общем, отец Тольки Белкина был партийным, но при этом работал слесарем, таким же, как и отец Фёдора. Обыкновенным слесарем на пороховом заводе. Как и почему Белкин-старший стал партийным, при том, что имел за спиной всего 7 классов образования, ремеслуху, то, что потом называли ПТУ, никогда особой идейностью не отличался и вообще от своих партийных обязанностей, собраний и прочего, старался максимально отлынивать, Фёдор понял много позже. Много позже, когда в конце 80-х его самого, молодого специалиста, секретарь парткома службы АСУ стал агитировать вступить в партию. Секретарь, пожилой еврей, людей понимал с полувзгляда. Про Фёдора он понял сразу, что разыгрывать спектакль, а он умел это делать профессионально, даже можно сказать талантливо, здесь не имеет смысла. Поэтому всю диспозицию разложил коротко и цинично. Наконец-то

удалось уговорить и принять в партию 3 человек из рабочих, которых в службе АСУ было очень немного, и это давало, наконец, возможность, согласно партийным установкам, принять одного ИТР (инженерно-технического работника). Но опять же согласно установкам, этот ИТР должен был быть молодым специалистом. Конечно, у секретаря был свой кандидат, но у него был один большой, практически непреодолимый недостаток – он был той же национальности, что и сам партийный начальник. Поэтому секретарь остановился на Фёдоре, при этом самым весомым его аргументом было:

– Ты можешь сделать карьеру, но ты же понимаешь, что без партбилета ты ее не сделаешь!

Как говорят – красота в гармонии, гармония в пропорциях. По всей видимости, отец Тольки Белкина стал партийным по законам красоты – то есть в силу необходимости соблюдения пропорций в представительстве классов в партийных рядах.

Отец Фёдора говорил, что Белкин-старший какое-то время упирался, даже по-соседски советовался с ним, пугали суммы партийных взносов, довольно серьезные. Но, по всей видимости, другие обещанные привилегии, или, как сейчас говорят «бонусы», взяли вверх. И бонусы, по всей видимости, действительно были серьезные – Белкины без всякой очереди купили сначала Запорожец, а потом в 1972 году и первые Жигули-однёрку.

Только был младшим из трех братьев. Старшего брата

Белкина, Вальку, Фёдор не помнил. Тот ходил в армию, потом жил отдельно от родителей какой-то своей взрослой жизнью и Толька его даже как-то и не поминал никогда в разговорах. Средний, Борька, учился в техникуме, его все мальчишки знали много лучше. У Борьки были права и пару-тройку раз он катал их на Запорожце, который достался ему после того, как отец пересел на Жигули.

Тольке, видимо, как младшему, позволялось очень много. Он рос непослушным, хулиганистым и громкоголосым. Был легок на подъем, его постоянно тянуло на какие-нибудь авантюры и приключения. В их компании идеи обычно исходили от других – от Фёдора, от Андрея, реже от Левы, но Толька был первым, кто идею подхватывал и готов был тотчас куда-то идти, бежать, что-то ломать или что-то строить, во что-то, во что угодно играть, с кем-то драться или наоборот брататься. Он был мотором, причем мотором, который заводился с полуоборота и который, казалось, работал даже тогда, когда у всех других горючее уже давно заканчивалось. Когда они по вечерам, порой уже затемно, собирались домой, Толька всегда упрасивал – «Ну пацаны, ну давайте еще хоть полчасика, ну куда вы?» И это не зависело от того, чем они занимались – играли ли в войнушку, футбол или хоккей, или просто сидели в построенном из досок и шифера «штабе» и болтали о чем попало.

С ним было не страшно ходить по другим кварталам, даже по местному «Чикаго» – микрорайону бумажников, пе-

редвигаться по которому без последствий для здоровья можно было только днем. Темных дворов в микрорайоне хватало и местной шпаны опасались даже здоровые мужики, которые после работы старались возвращаться домой компаниями, особенно в дни полочки.

Микрорайоновские пацаны, перенимая моду у старших, тоже кучковались по дворам, сбивались в шайки, часто пластались между собой, ну и конечно не давали проходу любому чужаку.

Между тем через микрорайон лежала дорога на старую свалку, на которой всегда можно было найти много чего интересного. Однажды они даже собрали почти целиком из найденных на свалке деталей велосипед «Школьник». Его отдали Андрею, у которого своего велосипеда не было, денег у матери не хватало. А сам Андрей там же на свалке отыскал старый приемник, чему был как радиолобитель бесконечно рад. Зимой на свалку ходили за червями. Свалка дымила постоянно и в теплой земле можно было отыскать жирных, красных, почти навозных червей и не надо было тратиться на «малинку», коробок которой на рынке стоил непомерно дорого для пацанского бюджета.

Обычно микрорайон они обходили. Но почему-то в тот раз Толька их уговорил. Собственно, он и не уговаривал, просто сказал – «А я пойду напрямки». И не пойти с ним уже было нельзя. Не по-пацански, вернее, не по-мужски. Сердце у Фёдора билось сильнее, чем когда он первый раз пошел

к зубному. Да тогда он и не шел, его привели, точнее при-тащили. Зуб болел сильно, но то небольшое, что Фёдор знал про зубных врачей из фильмов и разговоров сверстников и взрослых, казалось еще страшней. Хотя в тот раз все закончилось для Фёдора быстро и не страшно. Пожилой врач, фронтовик, Фёдор однажды видел его в пиджаке с полоской орденских планок, держа в руках блестящие щипцы, наклонился над Фёдором, полулежавшим в потертом стоматологическом кресле:

– Ну что боец, готов к бою?

Фёдор закрыл глаза, а когда открыл, над ним суетились медсестры, целых две. Доктор стоял, курил у форточки, тогда так прямо в больнице курить еще было можно, и весело смотрел на Фёдора:

– Ну что же ты, боец? Тебя еще и не ранило, а ты уже в отключку. Вся война без тебя прошла. Только и успел, что испугаться.

В этот раз отключаться было нельзя. Им почти повезло, они уже почти проскочили, оставалось пройти двор у «Кулинарии», а там через дорогу и вот она свалка. Везение закончилось метров за сто до цели. Микрорайоновских было семеро против их четверых. Главного Фёдор знал – Ромка Шарифуллин, из восемнадцатой школы. После того, как по всем кинотеатрам страны прошла куча фильмов про индейцев со знаменитым Гойко Митичем, обогатив дворовый лексикон множеством новых слов, Шарифуллин получил клич-

ку «Шериф», созвучную его фамилии. Проблема усугублялась тем, что Шериф ходил в секцию бокса и показывал там неплохие навыки. Но еще хуже было то, что навыки эти он любил оттачивать на улицах и во дворах своего микрорайона. Слухи о его «подвигах» множились и, понятное дело, всей их компании было совершенно ясно, что они крепко попали.

Их окружили полукругом. Шериф вышел немного вперед.
– Ну что, цуцики? Сейчас будем вас метелить.

Слово «цуцик» было непонятное, но крайне обидное. И, похоже, Тольку Белкина оно обидело больше всех. Он тоже вышел вперед.

– А чё вы такие храбрые, семеро на четырех? Давай один на один махаться?

Пацаны такого поворота не ожидали и удержать Тольку от этой дикой наглости просто не успели. Отметелить их действительно должны были по первое число, благо, тогда хотя бы лежачих ногами не били. Но все повернулось иначе.

– Ты чё? Серьезно? Ну давай. Но условие, слетишь с копыт за десять минут три раза, твоих тоже отметелим...

У Шерифа единственного были часы, большие наручные часы на толстом коричневом ремешке. Все про них знали, потому что он носил их на левой руке, так как основная в боксе у него была правая. Он снял часы и отдал одному из своих:

– Засекай.

Толька дрался отчаянно, он не защищался, он нападал. При этом у него даже была какая-то тактика – он наскакивал петухом, круговыми размашистыми ударами пытался достать Шерифа хотя бы в корпус, выше достать было сложней, Толька был на полголовы ниже. Наскакивал, потом отскакивал, заходил чуть сбоку. Получалось, что Шериф стоял в центре и был вынужден вертеться по кругу, отражая Толькины наскоки. Но то, что удары и движения у него были поставлены, со стороны было видно даже ничего не сведущему ни в драке, ни в боксе. Через десять минут у Тольки один глаз заплыл здоровенным разноцветным синяком, губа с одной стороны распухла, из краешка рта тонкой струйкой сочилась кровь, а рукав поношенной красной клетчатой рубахи после его размашистых ударов разошелся на локте. С ног он слетел два раза, впрочем, один раз не засчитали – он упал на одно колено и быстро поднялся и противники великодушно падение не зачли. На Шерифе повреждений видно не было, он даже не особо запыхался.

– Ну что, молодец, продержался! Как звать то?

– Толька!

– А кликуха есть?

– Нету...

– Вы вообще откуда такие взялись, фраера?»

– Мы на Северной живем...

– Куда двигали то? На свалку? Ладно, катитесь.

Они уже перешли дорогу, когда Шериф окликнул:

– Эй, пацаны, в следующий раз через наш двор идите, или, если что, ссылайтесь на меня, а то вашему боксеру рожи не хватить синяки считать...

Шериф позже переехал в центр, выполнил кандидата в мастера, а в 90-е стал лидером «центровых» под той же кличкой «Шериф». «Центровые» держали рынок и киоски в центре города Шерифа застрелили где-то в 95 в подъезде собственного дома. Говорят, не захотел чем-то с кем-то делиться. Боксерские навыки ему не помогли.

Только был героем до самого дома. У дома приуныл. Его «партийный» отец долгих разъяснительно-воспитательных бесед с сыновьями никогда не вел и Фёдор с братом через огород частенько слышали, как он объяснял сыновьям, как и в чем, по его мнению, они поступили неправильно, обильно сдабривая свои объяснения яркими, всем известными «эпитетами».

Вот таким заводным, отчаянным был Толька Белкин. А еще у него у него был удивительный талант разбираться во всяких механических устройствах и управляться со всякими инструментами. Годам к 13-14 он и в их старом Запорожце и в новых Жигулях-копейке научился разбираться гораздо лучше братьев и отца. Не раз, сидя на скамейке у Толькиного дома, Фёдор наблюдал картину, когда Белкин-старший, вернувшись на машине из города, бросал сыну:

– Толян, что-то там сзади погромыхивает. Посмотри.

Только сходу загонял Жигуль на эстакаду, сооруженную

тут же во дворе из железнодорожных шпал, потом залезал в когда-то бывший синим промасленный комбинезон и сразу становился каким-то другим Толькой, серьезным, деловитым мастером-автослесарем. Фёдору нравилось участвовать в этом процессе, он подавал ключи, отвертки, промасленные тряпки. Ему нравились эти слова – «Дай накидной на 10», «кардан барахлит» и тому подобное.

После ремонта независимо от его сложности и продолжительности, Толькина физиономия обязательно была измазана автомобильным маслом и напоминала боевую индейскую раскраску. Но апогеем всей процедуры ремонта была заключительная Толькина фраза:

– Бать! Принимай работу!.

Уже тогда в Толькином будущем сомнений не было. После восьмого класса он пошел в ПТУ на автомеханика.

Летом 1972 года, это Фёдор помнил точно, потому что тогда они одновременно с Белкиными купили «Жигули», вернее автомобиль, пусть и за деньги, им выделили, потому что отец и мать Фёдора были «ударниками коммунистического труда», напротив их дома в чистом поле, где раньше садили картошку, за одну неделю из свежих неотесанных досок построили глухой забор, метра четыре в высоту. Забор тянулся вдоль всего их квартала, а это как-никак десять частных домов. Он огородил большущий прямоугольный участок поля, а еще через неделю по углам этого прямоугольника выросли высокие деревянные вышки-грибы с такими деревян-

ными шляпками-крышами над ними, а по всему периметру поверх забора была натянута колючая проволока. Все стало понятно. Здесь будет стройка, а строить будут зэки. Теперь по утрам они прямо со скамейки у дома наблюдали, как к стройке подъезжали автозаки с маленькими зарешеченными окошками над самой крышей кабины. Сначала из «предбанника» автозака выскакивали двое солдат с автоматами, еще несколько солдат с погонами яркого кровавого цвета тоже с автоматами, всегда с парой, а то и больше немецких овчарок, уже выстраивались в две шеренги у ворот стройки. Потом из крытого кузова по одному спрыгивали на землю одетые в одинаковые застиранные, когда-то черные, робы одинаково стриженные люди в смешных одинаковых кепках, которые почему-то всем им, казалось, были малы. Все эти люди до тех пор, пока из автозака не выходил последний «пассажир», почему-то сидели на корточках. То, что это были зэки, объяснять никому из пацанов необходимости не было. Зон в их городе хватало, да и освободившихся бывших сидельцев тоже. Слово зэк было обыденным, в ходу. Просто так близко все это они наблюдали в первый раз. Это соседство с заборами с колючей проволокой, зэками, солдатами и собаками стало их привычной жизнью больше чем на 3 года. А для Тольки Белкина он стало больше, чем соседство.

Когда стены строящихся внутри зоны зданий поднялись выше окружающего стройку забора, началось самое интересное. В один из летних каникулярных дней, когда они сидели на

скамейке у Фёдорова дома и обсуждали какие-то свои планы, за забором в глубине оконного проема уже построенного второго этажа появился мужик в черной зековской куртке и этой смешной кепке на голове.

– Эй, мальцы! Ловите!

Он бросил через забор что-то завернутое в грязную тряпку. Толька с Фёдором опасливо поглядывая на стоявшие в отдалении по углам строительной площадки деревянные вышки, перепинывая друг другу пустую консервную банку, как бы ненароком допинали ее до валявшегося в пыли свертка. Потом, как в фильмах про шпионов, как будто перевязывая шнурки, Толька наклонился, быстро схватил сверток и сунул его за пазуху. Больше их терпения на конспирацию не хватило, они рванули подальше от стройки. Впрочем, охраны стройки можно было особо не опасаться. Часовые на вышках обычно по большей части спали, слушали транзисторы или точили лясы с местными девчонками, которым тоже было интересно «повертеть хвостом», поболтать с симпатичными военными, да еще вооруженными настоящими автоматами. Большинство солдатиков, охранявших стройку, были издалека – с Западной Украины, Грузии, из других республик. Девчонкам было интересно послушать про те края, где они, в подавляющем большинстве своем, никогда не бывали. Где, как рассказывали, если не врал, смазливые солдатики, яблоки и груши они рвали прямо с деревьев, а помидоры краснели прямо на грядках. Начальство охрану осо-

бо не беспокоило, видимо, считали, что вероятность побега среди бела дня, да еще и в городе, невелика, а может оно, начальство, просто положило на службу «с прибором». Скорее всего, так оно и было. Изредка на газике приезжал подвыпивший, не по званию пожилой капитан, у ворот стройки его встречал молодой, но уже усатый сержант, с заливатским кучерявым чубом, торчащим из-под неизвестно как держащейся на голове пилотки, с вечно расстегнутым воротом гимнастерки, который тоже спал целыми днями в строительной бытовке, стоявшей на въезде. Хохла сержанта звали Аркашкой и мальчишки запомнили его очень хорошо, потому что по окончании службы он остался в их городе, женился на одной из соседских девчонок и потом служил много лет надзирателем в городской пересыльной тюрьме, располагавшейся в центре города в бывшем мужском монастыре. Капитан с сержантом совсем не по-военному, разваливались на скамейке в тени под дощатым навесом, закуривали.

– Ну как тут у вас?

– Все в порядке товарищ капитан! Контингент работает...

– Ну и лады.

И капитан уезжал.

В свертке оказалась резная деревянная змейка. Если брать ее за хвост и чуть-чуть поводить рукой, она красиво натурально извивалась, и если особо не вглядываться, производила впечатление живой. Им было с чем сравнить, ужей они видели не раз.

Еще через неделю тот же самый зэк перебросил им еще одну змейку, к которой прилагались коротенькая записка и рубль денег.

«Пацаны, – писал зэк, – думаю, не надо вам объяснять, что жизнь здесь не сахар. Прошу вас, купите на эти деньги чаю и перебросьте мне. За мной не задержится».

Никакой антипатии к тем, за забором, в черных робах и смешных кепках у них никогда не было. Собственно, как и у всех жителей их городка, многие из которых сами, порой и не один раз за жизнь, пересекали эту границу из колючей проволоки с руками за спиной. Для всех их выражение «От сумы, да от тюрьмы не зарекайся!» – было не пословицей, не красивой игрой слов, а аксиомой, ставшей таковой, после того как она многие тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, а может и миллионы раз была доказана реальной жизнью. Поэтому в тот же день в ближайшем магазине под народным названием «Мысинский барак» они купили пару пачек индийского «со слонами» чаю (да, тогда такой еще был), запечатали ее в плотный пакет из грубой оберточной бумаги и утяжелили его увесистой гайкой. Правда сразу бросать не решились и уже в сумерках долго тренировались, кидая камни гравия через забор в проем знакомого окна. Переброска самого пакета на следующий день прошла на ура.

Они подружились. Зэк перекидывал им через забор тех же змеек, идеально скопированные и даже зачерненные, на вид почти как настоящие, деревянные пистолеты, другие рез-

ные деревянные поделки, красивые с гравировкой дюралевые портсигары и прочую интересную и всегда искусно сделанную дребедень. Они в ответ перебрасывали чай, «долгоиграющие конфеты», иной раз куски соленого свиного сала и даже курево, которое они просили купить местных мужиков, честно признаваясь, что это для зэков, которые на стройке. Мужики с покупкой курева не отказали им ни разу.

Их Зэка и охрана, и его сотоварищи за глаза звали «Боцман». Был он сухощав и жилист, явно не молод, но возраст его определить было трудно, при этом коротко стриженные волосы были абсолютно, до последнего волоска, седыми. По тому, что Толька и Фёдор наблюдали, порой часами сидя на скамейке у Фёдорова дома напротив стройки, и те и другие относились к Боцману крайне уважительно. Лишним доказательством этому стал случай, когда однажды очередной пакет они бросили крайне неудачно, он попал в верхний ряд натянутой над забором колючей проволоки и упал между рядами ограждений, прямо на тропку, по которой, раз в пару часов, неизвестно зачем, потому что с вышек и так все прекрасно просматривалось, проходил наряд, два полусонных солдата. Один из солдат поднял пакет, задрал голову, посмотрел вверх. В проеме окна по пояс высунулся Боцман – «Это мне, боец! Ничего криминального, чай!» «Хорошо, Николай Степанович! Ловите!»

Боцмана освободили летом 1975-го по амнистии, связанной с Днем Победы. За неделю до освобождения он с замет-

но большими предосторожностями, чем обычно, перекинул им очередной сверток. В нем оказалась финка с разноцветной наборной эбонитовой ручкой, хищным курносым острием клинка и заметной глубокой ложбинкой вдоль лезвия. Оказывается Толька давно просил у Боцмана такую, писал об этом в записках, но Фёдору об этом не говорил.

В один из дней чубатый сержант Аркашка вылез из своей бытовки, подошел к ним, сидящим на своем «боевом» посту – на скамейке у дровяника Фёдорова дома, присел.

– Семку будете? Из дома, с Украины... Побольше будут, чем тут у вас – и щедро отсыпал по полной горсти каждому.

– Боцман последний день работает. Освобождается по амнистии ко Дню Победы. Просил дать с вами повидаться. Сейчас выйдет.

– Ух, ты! Аркашка, а чего его освободили? Он что воевал? Он же не такой старьёй?

– Не старьёй, но воевал. Больше того, орденосец... С ним начальник колонии за руку здороваются...

Из ворот уже выходил Боцман. Аркашка засобирился:

– Николай Степанович, только недолго, а то мне попадет...

– Не переживай, Аркадий, не подведу.

Боцман протянул руку, пожал обоим, пожал крепко, как взрослым.

– Ну что, парни, спасибо за все. Завтра отчаливаю. Надеюсь больше в этот порт не заходить...

– Фёдор, не знал, что тебе оставить на память. Ты то, наверняка пионер, стало быть, в Бога не веруешь. Я тоже когда-то не верил... Но все равно вот держи – Боцман протянул Фёдору потускневший с зеленоватым оттенком бронзовый крестик, на такой же цепочке.

– Меня берег, даст Бог и тебя сбережет, если придется... А не нужен покажется, бабушке своей отдай. Славная у тебя бабушка. Я же из-за забора за три года-то всех вас здесь изучил...

– Ну а тебе, Толян, памятью последняя моя посылка будет. Только запомни – попусту не доставай, нож это не игрушка и не пугалка. Если на тебя с кулаками, пусть хоть с десяток, значит и ты с кулаками. Ну а если по-другому... Короче, десять раз подумай прежде, но если достал – бей. И еще запомни – это ой не просто – поднять нож на человека. Особенно первый раз. Ну и не свети... Палочки стругать и перочинный, думаю, найдется...

Отец появился неожиданно, Фёдор рассчитывал, что он придет с работы не раньше чем через час. Фёдор напрягся, ох сейчас влетит за общение с эком. Как-никак, это все-таки преступник. Но отец повел себя совсем не так, как они с Толькой ожидали. Он просто присел рядом на скамейку.

Странно, они с Боцманом общались как будто старые знакомые.

– Хорошие у вас мальцы растут.

– Да рано судить, жизнь покажет, что из них выйдет. Ты

как? Выходишь по амнистии?

– Да вот, свезло ...

– Здесь осядешь? У нас многие остаются.

– Нет, домой тянет. Домой поеду, в Мурманск.

– Не ближний свет. Кто-то там у тебя остался?

– Матушка. Дом у нее. Ну не дом, так, барак считай. Но все крыша над головой. Да и устроиться проще – может в порт, а может еще раз свезет и на судно возьмут. Глядишь еще и похожу куда...

– Ну раз так, погоди тогда ...

Отец ушел в дом, появился минут через десять, протянул Боцману сверток, из которого краем выглядывал шмат соленого сала. Потом немного загорядясь от мальчишек он протянул Боцману бумажку. Фёдор разглядел – это была «красненькая», червонец.

– Путь дальний. Пригодится.

– Благодарю, брат – красиво ответил Боцман.

У Фёдора было странное ощущение, что их, Боцмана и отца, незнакомых до этого момента, что-то связывает, какое-то общее знание, но какое, он не мог понять.

Глава 15. Толька Белкин (2)

Дом Тольки Белкина стоял по Большевицкой прямо напротив «Мысинского барака», мрачного двухэтажного дома, из почерневшего, то ли от времени, то ли от сырости, бруса, на первом этаже которого располагался продовольственный магазин с понятным названием «Продмаг», а на втором этаже, вход на который был со двора, располагались четыре квартиры. По современным меркам магазин был универсальным, так как в нем продавали все – от молока и конфет до водки и селедки. Еще он был хорош тем, что в нем можно было сдавать стеклотару, правда бутылки здесь брали только лимонадные, пивные и водочные по 12 копеек. Те, что дороже, молочные и из-под кефира, не брали, так как молоко здесь продавали в разлив, а кефира никогда и не бывало, потому что у местных он популярностью почему-то не пользовался.

Долгое время магазин этот был в округе один и все вынуждены были, если не постоянно, то довольно часто ходить именно в него, хотя пользовался он дурной славой. Этой дурной славой он был обязан своему неофициальному названию – «Мысинский барак». На втором этаже дома в одной из квартир, по тогдашним меркам достаточно просторной, в три комнаты, жило семейство Мысиных. Официально прописано в квартире было шестеро – мать, отец и четверо их

сыновей, но одновременно в адресе проживали обычно трое жильцов, реже и недолго бывало четверо, и никогда не бывало всех шестерых, потому что отец и сыновья периодически, сменяя друг друга, «отдыхали» в местах «не столь отдаленных», а порой и совсем неотдаленных – здесь же в родном или соседних районах на лесоповалах в глухих таежных зонах. Причины их «отпусков» разнообразием не отличались – хулиганство, кражи, разбой, грабеж. Только третий из братьев, Колька, нарушил традиции и сел не «по-мысински» – за изнасилование. Братья были почти погодки, младший чуть старше Тольки Белкина. Отца Мысина по имени никто не знал, говорили просто – «Мысин-старший», а мать называли «Мысихой».

Двое старших братьев были отморозки, как только они выходили после отсидки, вся округа начинала считать дни, когда же они снова отправятся «на курорт». Велосипеды, мопеды, мотоциклы, ведра на заборах и даже развешенное выстиранное белье на улице старались не оставлять. Подчищалось и сбывалось неизвестно куда все мало-мальски плохо лежащее. Заявлений в милицию никто не писал. С одной стороны вряд ли найдут, таких прецедентов практически не знали, с другой – на свободе всегда оставался кто-то из Мысинских и от них всегда можно было ждать пакостей, мелких или крупных.

Настроение в тот день у Тольки было классное. Он возвра-

щался из гаражей на Северной. В кармане приятно хрустела еще не потерявшая запах заводской краски «красненькая» десятка. Он получил ее за регулировку клапанов на красивой, еще довольно новой синенькой «шестерке». На чужой машине он делал это первый раз, но все прошло на редкость просто и без проблем. Руки знали, что делали. Хозяин «шестерки», прапорщик с пятой зоны, опробовал двигатель сразу после регулировки, проехался тут же между гаражами.

– Да у тебя, парень, золотые руки! Я и не знал, что она так может. Считай икру на масло ты себе по этой жизни уже обеспечил.

Вообще-то прапорщик все мерил деньгами, но в этот раз его слова грели Тольке душу даже больше, чем выуженная из толстой пачки новенькая десятка.

Глухой сдавленный женский крик он уловил не сразу и не сразу понял, откуда он. Но что-то в этом голосе заставило Тольку вздрогнуть. Слова были непонятны, но голос казался знакомым, и отчего-то Толькино сердце вдруг сразу напряглось и забилось часто-часто. Он вслушался –

– На надо, я прошу вас, не надо ... Не надо...

Звуки шли из-за сараев возле «Мысинского барака». Конечно, Толька знал это место. Укромный уголок, с трех сторон прикрытый сараями, такие уголки есть почти в каждом старом дворе. Деревянный стол со скамьями, здесь у «Мысинского барака» над столом был еще и дощатый навес,

в углу старая голая железная продавленная кровать, на которой порой ночевали выгнанные из дома «перебравшие лишку» мужики из окрестных барачков.

Только сначала быстро пошел, потом вдруг побежал, как будто понимая, что он может не успеть, что может случиться что-то непоправимое.

За столом в межсарайном закутке было можно сказать многолюдно. Крайне редкое явление – все младшее поколение Мысиных одновременно и в одном месте, при этом изрядно поддавшее. Это Только понял по реакции на его появление. Двое старших сидели за столом, заставленным бутылками и закусками, младший Валерка, пошатываясь, мочился в дальнем углу, а на кровати, с которой и слышалось сдавленное «не надо..», навалился на кого-то третий по порядку появления братьев Мысиных на свет, Колька. Когда в проеме закутка появился Только, Колька обернулся, и лишь тогда Только увидел за ним расширенные от ужаса знакомые глаза и побелевшее лицо Ольги Телешевой, их соседки через огород.

Он стоял и не понимал, что делать, что говорить, даже как к ним обратиться.

Пацаны? Ну какие уже пацаны, особенно Мысины-старшие? Мужики? Какие они мужики? Они уголовники ... Да и звучит мужики как-то по-доброму ... А надо ведь, чтобы слова звучали твердо...

Он решил не называть их никак. Да они и есть никто. Сво-

лочи!

– Эй, не трогайте ее! Это же наша соседка, Ольга!

– Валерка, – он обратился к младшему из Мысиных, – это же Ольга, ты же знаешь ее?

Младший Мысин не реагировал, он глупо улыбался, держась за стенку сарая, покачиваясь на сгибающихся не слушающих ногах.

– Вы же тоже здесь живете. Вы же тоже соседи! – голос Тольки срывался.

Один из старших Мысиных, сидевших за столом, ответил заплетающимся языком.

– Шкет, запомни, соседи – это по нарам! А здесь марухи и фраера! Ничего, пора уже девке бабой стать!

Колька Мысин отвалился с кровати, вперил в Тольку явно ничего не соображающие глаза. Ольга собирала на себе лоскутья уже порванного платья, вжимаясь в стенку сарая, как будто стараясь исчезнуть в ней.

– Это чо за баклан? Эй ты, пугало, гуляй мимо! А то и тебя оприходуем!

Ему было страшно. Ему было очень страшно. Он понимал, что сейчас произойдет что-то непоправимое. Если он уйдет, это непоправимое произойдет с Ольгой, и кто он и как он после этого? А если он вступится, то скорее всего это произойдет с ним и вряд ли он уйдет отсюда здоровым, хорошо если живым. Ему было страшно. Он обводил глазами весь закуток, пьяных Мысиных, съезжившуюся от страха в

углу кровати Ольгу. Его взгляд остановился на ее обнажившейся из под порванного платья груди.

Это решение не было осознанным. Он даже сам не сразу понял, что он сказал и что он решил.

– Ты сам... Ты сам... Петух! Петушара! Вы все петухи!

Это неосознанное решение оказалось самым правильным. Все четверо Мысиных раскрыли рты и глаза на этого оборзевшего малолетку и этого мгновения Тольке хватило.

Он шагнул к приставшему с кровати Кольке навстречу и ударил его в челюсть.

– Оля, беги, беги...

Слава Богу, успела. Ольга скрылась за углом сарая, Толька встал спиной к дощатой стене сарая. «Все, сейчас будут бить...»

Старшие Мысины уже вылезли из-за стола и перекрыли Тольке выход из закутка. Один вытащил откуда-то из-за пояса финку. Но всех опередил Колька. Он схватил лежавший на столе нож-хлеборез.

– Замочу козла!

Странно, оказывается мысли имеют размеры. Мысль в голове раскрылась крупными плакатными буквами – Нет, будут не бить, будут убивать...

Он успеть отбить Колькин удар, хлеборез прошелся по касательной, но задел руку и ее как будто ожгло.

И снова плакатными буквами в мозгу, но уже хорошо запомнившиеся слова Боцмана – «Если на тебя с кулаками,

пусть хоть с десяток, значит и ты с кулаками. Ну а если по-другому ...»

«Боцманскую» финку он носил с собой всегда. Тогда многие носили с собой ножи. В голенище кирзовых сапог, в которых он обычно занимался ремонтом, он даже приделал специальные кожаные ножны. Колька замахнулся хлеботорезом сверху. Они с пацанами много раз учили этот подсмотренный где-то прием – подставляешь левую руку, уводишь руку противника с ножом в сторону, а сам бьешь справа в бок. Но Толька уже ничего не понимал и не помнил. И на следствии, и на суде он не так и не смог подробно рассказать, как он умудрился, как говорил какой-то адвокат – «расправиться» с тремя взрослыми мужчинами. Последнее, что помнил Толька – он подошел к зажавшемуся в угол, превратившемуся в мокрый, пахнущий мочой, плачущий мешок Валерке Мысину:

– Они же первые начали Ты же видел ...

Дальше снова был провал.

Суд был, что называется «скорым». Тольке дали «десятку». Говорили, что ему добавили срок за какую-то драку с поножовщиной, уже там в заключении. Он так и пропал в дремучем архипелаге из зон, поселений, тюрем и лагерей. Они больше не виделись.

Глава 16. Андрей Петровский

Человека уже давно нет на свете, а только много позже появилось жаргонное слово, которое как никакое другое подходило к его внешнему виду. «Ботаник». У него действительно был ухоженный и умный вид. При этом у него не было очков и он отнюдь не выглядел маменькиным сынком. Хотя, по сути, именно таковым он и был. У Андрея, единственного в их компании, отец был фронтовиком. Разница в возрасте с матерью Андрея у него была лет десять и к моменту рождения сына ему было уже 37. Был он не здешний, а в городе остался после госпиталя, в котором проболтался целый год, с 1945 по 1946 год. Он, как и отец, и мать Фёдора, как многие из их соседей, работал на пороховом заводе.

Как делают порох, Фёдор не представлял, но с детства из разговоров родителей, знал, что на заводе большая «загазованность» и часто бывают взрывы. Если считать по знакомым, в год на заводе погибало человека два-три, а иной раз и больше. Мать Фёдора тоже работала, как она выражалась, «в газу». В этих условиях надо было отработать восемь лет, чтобы в сорок пять выйти на пенсию. Но платили за работу «в газу» хорошо и поэтому большинство старались за эту работу держаться и после этих восьми лет и после сорока пяти. А начальство, в свою очередь, держалось за ветеранов-пенсионеров, потому что они знали все тонкости процесса, прак-

тически не давали брака, да и ту же опасность взрыва чуяли каким-то непонятным образом. Жертвами заводских взрывов чаще оказывались молодые и неопытные. Как единожды, почти никогда и ничего не рассказывавший про войну дядя Паша Черепанов вдруг сказал: «Опыт на войне – это когда задницей чувствуешь когда и куда упасть, а когда встать и побежать... Но первый месяц надо просто выжить. А чувства в заднице появляются потом...» Это был самый длинный его рассказ о войне.

Отец Андрея до пенсии не дожил. Он умер после очередного взрыва на заводе и возникшего после него пожара. Наглотался ядовитого дыма. После ранения на фронте у него и так оставалась только половина легкого. Видимо, этой половины не хватило, чтобы ухватиться за жизнь.

Народу на похоронах было много. Двор возле подъезда Петровских был забит людьми. Пацаны вертелись вокруг. Для кого-то присутствовать на похоронах было в первый раз. Смотреть на покойника было страшно, но интересно. Перед тем, как погрузить гроб на машину, его перед подъездом поставили на покрытые половиками табуретки. Что-то говорили. Фёдор запомнил только, как какой-то дядька, по виду из начальства, потому что в костюме, галстук и почему-то в белой рубашке, назвал отца Андрея настоящим «интернационалистом». Что это за слово такое Фёдор тогда не знал. Он спросил об этом Андрея, когда им было уже лет по 10, может 11.

– Так ведь папа тогда, перед тем как умер, китайца из огня вытащил – ответил Андрей.

Все стало понятно. Китайцев на заводе тогда хватало. Их привезли сразу как-то много, несколько автобусов. Жили они возле рынка в старых двухэтажных деревянных общежитиях, ходили все в одинаковых каких-то полувоенных костюмах, висящих на них как на вешалках. Хотя никого в городе ни их вид, ни поведение не удивляли, ибо всем своим видом напоминали знакомых всем зэков, разве что выражение лиц у китайцев было гораздо еще более одинаковым, чем у заключенных. На заводе китайцев обучали производству пороха. Мать рассказывала дома, что ей в ученики приставили трех молодых китайцев. «Смешные» – говорила она – «и беда короткие и худые. Не говорят, а мячуют. И недоедают похоже. Как мы во время войны...». Как она с ними объяснялась, непонятно. Но несколько месяцев подряд мать регулярно брала на работу что-нибудь съестное.

Году в шестьдесят седьмом, может чуть раньше, все китайцы разом из города исчезли. Мать довольно долго вспоминала их. Вспоминала с улыбкой.

– Знаешь, Фёдор, как по-китайски «хорошо»? Халасо.

А потом по радио и в газетах стали говорить об острове Даманском и о плохом Мао-Цзедуне. Мать уже не улыбалась. Наоборот, чертыхалась – «научили порох делать на свою голову».

Вот и получается, что лет с семи Андрей стал «мамень-

киным сынком». Мама его работала библиотекарем в заводском дворце культуры. Понятно, что дворец был имени Ленина. Раз дворец, значит имени Ленина, это же не клуб какой-нибудь.

Когда Фёдор побывал дома у Андрея в первый раз, главное, что его поразило – это количество книг. Простенькие открытые книжные полки занимали в большой комнате целую стену. Мама Андрея вроде бы была похожа на библиотекаршу, какой она на самом деле и была, или на учительницу из советских фильмов, но все-таки в ней было еще что-то, что отличало ее от этих типовых героинь. Много позже, уже после десятков и сотен прочитанных книг и просмотренных фильмов Фёдор нашел определение, которое, по его мнению, как никакое другое подходило для мамы Андрея – «тургеневская девушка». Правда, Фёдор немного переделал его – «тургеневская дама» все же было чуть точнее.

Как только Фёдор узнал, что такое на самом деле «интеллигент», мама Андрея стала для него олицетворением этого слова. Почему «на самом деле»? Потому что первоначально это слово для всех пацанов их двора носило презрительный оттенок. Тот, кто обходил лужу вместо того, чтобы прошлепать ее посередине, у кого на штанах или рубашке не было ни одной заплатки, кто не умел смачно сплюнуть сквозь дырку выпавшего переднего зуба – тот вел себя как «интеллигент». Даже выражение было устойчивое – «что, боишься замараться, антелигент?»

Что Андрей из интеллигентов стало понятно с первых его слов. Их, против пятерки из пятого дома, было только четверо, чтобы начать игру не хватало одного игрока. Андрей в чистой, аккуратно сидевшей на нем телогреечке, в голубоватого меха офицерской ушанке, видимо доставшейся ему от отца, слушал их разговоры, стоя за бортом хоккейной коробки.

– А вы не будете против, если я сыграю за вас? Клюшка у меня есть.

«Не будете против?...» Ясное дело, интеллигент! Но играл он здорово, И помимо «Ботаника» много лет спустя у Фёдора появилось еще одно слово, нет, не слово – словосочетание, которое в его памяти навсегда связалось с образом Андрея. Выражение это он первый раз услышал из какого-то хоккейного репортажа. Кажется, комментатор употребил его в отношении Игоря Ларионова, который для Фёдора был хоккеистом номер один.

– Какая культура паса – воскликнул комментатор.

«Культура паса!» Фёдор сразу связал это выражение с Андреем. Именно «культура паса», как бы ни странно звучали эти слова в отношении дворового игрока дворового хоккея.

В хоккей играли в сооруженной посреди двора между четырьмя панельными пятиэтажными домами коробке. Борта ее были сколочены из старых досок, оставшихся после сноса стоявших на этом месте деревянных полубараков. Лед в коробке заливали лишь время от времени, коньки были да-

леко не у всех и поэтому чаще всего играли в валенках, или точнее по аналогии с коньками, говорили – «на валенках». Валенки даже давали преимущество. Большинство тех, у кого коньки были, катались весьма посредственно, стояли на них неустойчиво, и в борьбе с тем, кто был на валенках, как правило, проигрывали. У Андрея были «снегурочки», которые сыромятными ремешками привязывались к тем же валенкам, Он стоял на коньках уверенно, умел красиво закладывая виражи, даже умудрялся на снегурочках ездить задом, что не получалось больше вообще ни у кого. Сам Андрей забивал немного, но умел отдать такой пас, что оставалось только подставить клюшку или бросить с ходу, не подлаживаясь, настолько удобными были эти пасы. Пожалуй, лучше Андрея играл только Аркашка Обухов, будущий чемпион мира среди юниоров. При всем притом хоккей не был страстью Андрея. Страстью его было радио.

Вероятно, эта страсть к радио передалась Андрею от отца, После его смерти в наследство Андрею досталось несколько самодельных радиоприемников, два больших чемодана с самыми разными лампами и радиодетальями и пара паяльников, причем один из них был немецкий трофейный, с красивой черной ручкой и изогнутой головкой. Все это добро до поры до времени лежало мертвым грузом. А где-то лет в 10 у них, у всей их компании начались, что называется, «поиски себя». Наверное, за год они все вместе успели походить на хоккей – в официальную хоккейную секцию строи-

тельного треста №8, на футбол, на лыжи, на шахматы, а еще на станцию юных техников в фотокружок, в авиамодельный, в радиолюбительский. Постепенно все определились. Только Белкину необходимость регулярно посещать какие-либо занятия просто претила, он забросил все, и когда они не собирались компанией, он по большей части занимался в своем гараже ремонтом и совершенствованием купленного ему отцом с рук старого мопеда. Лева всерьез увлекся шахматами, Фёдор до самого окончания школы пробегал на лыжах. А Андрей остался в радиокружке.

Однажды, наверное, им было уже лет по тринадцать или четырнадцать, Фёдор как-то пришел к Андрею в гости. Вернее, его послала мать. Собрала большую авоську картошки, моркови, чего-то там еще и отправила.

– Сходи-ка, отнеси Зое Павловне.

Своего огорода у Петровских не было, овощи покупать им приходилось на рынке или в магазине, и мать Фёдора, да и их соседи частенько передавали Петровским через мальчишек плоды своих домохозяйств. Когда-то попробовали передать напрямую, но мать Андрея взять продукты наотрез отказалась. Тогда наладились делать это через мальчишек, а при встрече отвечали заученной заготовкой – «Зоя Павловна, так ведь остается, пропадет, а картошка и вовсе в погреб не влезает».

Матери Андрея дома не было, это Фёдор знал. С авоськой он всегда старался приходиться, когда дома оставался один

Андрей, чтобы избежать ненужных разговоров с Зоей Павловной про то, что «Ну зачем? И не надо». Андрей открыл дверь, но он торопился:

– Фёдор, давай быстро кидай все на кухню, пошли ко мне в комнату. У меня скоро сеанс!

Что за сеанс, какой сеанс? Сеанс это в кино. На письменном столе Андрея стоял большой старый радиоприемник, но крышки и боковых стенок у него не было. Светились изнутри спиральями большие радиолампы, что-то пощелкивало. Фёдор не понимал в этом ничего. Он и внутренности приемника то видел только раз, когда они с братом решили разобрать старый неисправный «Днепр», несколько лет стоявший под кроватью на веранде.

У Андрея все работало. К одному из разъемов был подцеплен черный с дырочками микрофон, в открытых динамиках радиоприемника что-то шипело, свистело, ухало, даже различались глухие голоса. Андрей сел за стол, указал Фёдору на стоявший рядом стул и стал крутить какие-то ручки. Неожиданно из динамиков послышался довольно четкий голос:

– Шахтер вызывает Карацупу. Шахтер вызывает Карацупу... Как слышишь, прием?

Андрей взял микрофон, нажал какой-то рычажок:

–Карацупа Шахтеру... Карацупа Шахтеру... Слышу хорошо...

О чем Андрей говорил с этим самым «Шахтером» Фёдор

уже почти не слышал, он сидел, раскрыв рот. Они говорили о каких-то лампах, усилителях, конденсаторах... Когда сеанс закончился, у Фёдора вырвалось только одно

– Карацупа, это кто?

– Ну, вообще-то это мой позывной, а так это герой-пограничник. У меня книжка про него есть. Я тебе дам почитать.

– А Шахтер?

– А-а, это дядька один из Березников. Он на калийной шахте работает и в радио разбирается здорово...

На призывную комиссию они ходили вместе. Ощущения были дурацкие. Толпа щуплых подростков, качаться тогда еще было не в моде, в одних трусах и носках с медицинскими картами в руках шаталась по коридорам военкомата из кабинета в кабинет. «Трусоватая» компания – выдал на гора шутку Фёдор. Кроме всего прочего, в одном из кабинетов заставляли снимать и трусы. Все переживали, в числе врачей была женщина, пусть уже немолодая, лет тридцати, но все же. Опыта обнажаться перед женщиной, скорее всего, у подавляющего большинства этой «трусоватой» публики не было. Хорошо хоть им повезло, когда подошла их очередь, женщины в этом «стыдном» кабинете не было и их осматривал врач-мужчина. Перед другим кабинетом, где собственно и заседала призывная комиссия, которая выносила окончательный вердикт, кому и где служить, стояла длинная очередь призывников, уже похожая на солдатскую, потому что все выглядели, что называется «по форме» – одинаково го-

лые и почти все в одинаковых черных или синих «семейных» трусах. За столом, расстегнув ворот форменной рубашки и ослабив галстук, сидел крепкошей мускулистый военком, еще пара офицеров, которые в присутствии военкома расстегнуться не смели, и военный доктор, в халате поверх хаки. Перед столом переминался с ноги на ногу очередной будущий защитник Родины в трусах и носках. Вердикт выносился быстро и обсуждению не подлежал.

Фёдора зачислили в морскую пехоту, потому что у него был спортивный разряд. На его робкое замечание, что разряд по лыжам, а плавать он почти не умеет, от военкома последовало краткое – «Не умеешь – научат!».

Андрей военкома заинтересовал.

– Тут написано, что занимался в радиокружке? До сих пор занимаешься?

– Нет, сейчас уже сам.

– Хулиганишь, что ли?

Андрей замялся.

– Ладно, не межуйся! Слушай сюда.

И военком вдруг что-то быстро настучал костяшками пальцев по столешнице.

– Это сигнал SOS! – не заставил себя ждать Андрей.

– Молодец, боец! В погранцы согласен?

Вообще-то военком согласия спрашивал редко у кого, вернее, ни у кого до Андрея не спрашивал.

– Конечно, согласен, товарищ военком!

Лева приписной комиссии как-то умудрился избежать, а Тольку Белкина записали то ли в автомобилисты, то ли в артиллеристы, он по этому поводу особо не парился. Говорил только, хорошо бы попасть в Чехословакию или Германию. Уж больно хорошие вещи привозили оттуда дембеля.

К службе Андрей готовился обстоятельно. Еще за год до призыва начал посещать клуб ДОСААФ, где занимался тем же радиоделом, освоил разные армейские радиостанции, а самое главное, чему крайне завидовала вся их компания, в ДОСААФ Андрей научился управлять БТР-ом и к тому же получил водительские права. Именно он, Андрей – «Карацупа», единственный из них попал под призыв и попал именно туда, куда его приписали. Призвали его осенью семьдесят восьмого. Проводов как таковых не было. В отпуск он не приходил. И увидели они его в очередной раз только зимой 80-го, уже не живого.

Глава 17. Андрей Петровский (2).

Еще месяца три и приказ, потом еще чуть-чуть и дембель. Начальник узла связи погранотряда уже не один раз заводил с Андреем разговор про сверхсрочную. Пока намекает, потом наверняка вызовет для прямого разговора. Вообще, два года службы у Андрея прошли легко и без проблем. На погранзаставе, куда он попал поначалу, он пробыл совсем недолго, быстро освоил всю технику отделения связи, по сути, стал исполнять обязанности его начальника. Это было нетрудно, все было знакомо и по ДОСААФ, да и в принципе с его знаниями радиотехники и опытом радиохулигана, не представляло никаких сложностей. Через три месяца, начальник заставы, капитан Перепада, переведенный в штаб погранотряда «замбоем» – заместителем начальника по боевой подготовке, перетащил его за собой. В погранотряде Андрей даже успел в качестве связиста «сходить» с ДШМГ «за речку». Ну, если быть точным, не сходить, а слетать – их выбрасывали на вертолетах на небольшие площадки в горах на той стороне. ДШМГ не раз попадали в переделки, не раз «вертушки» привозили 300-х и даже 200-х, но все выходы, в которых участвовал Андрей обошлись без приключений. Часами, порой даже сутками лежали в укрытиях, устроенных в холодных ночах, но нагревающихся как сковородки днем, афганских скалах, наблюдали за афганскими кишлака-

ми, за ущельями, по которым могли передвигаться караваны моджахедов. Боестолкновений за все его выходы с ДШМГ не было ни разу. За Андреем была только ежедневная связь и в целом, ему показалось, в этих вылазках было довольно скучновато. Спасали только книги. Они у него, несмотря на приказ не брать ничего лишнего, всегда с собой были. Впрочем, командиры групп на это его нарушение внимания не обращали. Он был отличным связистом и это ценилось ими в первую очередь.

С тех пор, когда его назначили старшим телеграфистом узла связи погранотряда, с ДШМГ он больше ни разу не вылетал. Уже больше полугода. Хотя и на этой должности все уже приелось. По службе все было отлажено и понятно. В быту у него была своя маленькая каптерка рядом с узлом связи, где он всегда мог уединиться или с книгой, или просто полежать, помечтать, как он вернется домой. Как они с мамой сядут на велосипеды. Перед самой службой, успев полгода отработать на бумкомбинатовской лесобирже, он купил маме с рук настоящий «дамский», с низкой рамой, велосипед. И отправятся на Боровицу, на «Круглый залив». Это старая боровицкая протока, совсем недалеко от впадения Боровицы в Каму. Это место ему показал Фёдор. По берегу залива как будто прогуливались парами стройные, словно загорелые сосны с телами-стволами золотистого цвета, а в одном месте почти к самой воде спускалась разросшаяся одним большим непролазным кустом черемуха. Фёдор говорил, что на этом

месте когда-то была деревня. Только один раз они с мамой успели съездить туда до его призыва. Они просто посидели на берегу, испекли в небольшом костерке прихваченную Андреем картошку. Для нее это было внове, она была в полном восторге, хотя после поездки очень устала, все-таки километров по семь туда и обратно.

– Какая сладкая усталость. Спасибо тебе, Андрюш ...

Когда он вернется, будет весна. Черемуха, спускающая к заливу, будет цвести...

Начальник узла связи зовет на сверхсрочную. «Замбой» Перепада говорит «тебе надо ехать в Московское пограничное...». Он даст рекомендации, хотя уверен, что Андрей и так пройдет все экзамены без проблем. Хорошие мужики. Но они просто не понимают, что Андрей не может оставить маму одну. Потому что у нее никого больше нет на этом свете. И у него нет. Только мама. Мама и пацаны. И все они там, дома. Хотя, пацаны может и разъедутся, но мама, мама то останется там.

Он всегда завидовал своим друзьям. У них были деды, бабушки. Особенно Андрею нравилась Фёдорова бабушка Настя. Он не раз бывал у Фёдора дома, бабушка Настя кормила их блинами, а потом Андрею снились сны, когда его будила его бабушка, он понимал, что это именно его бабушка, хотя она и была похожа на бабушку Настю как две капли воды. Бабушка будила его, ласково глядя по голове, и, хотя они жили в квартире, от бабушкиной руки шло тепло русской печки.

У них с мамой родных не было никого. Вся папина семья погибла в оккупации, а про своих мама почему-то всегда просто молчала. Он спрашивал в детстве и не однажды, но она никогда не отвечала на эти вопросы, просто молчала, только ее большие глаза становились влажными и грустными. Ему тоже становилось грустно и тоскливо и начинало хотеться плакать, и в какой-то момент он перестал спрашивать.

– Петровский, зайди – давно не вызывал замбой.

Перепада был краток:

– Ты, наверное слышал, у нас впервые за последние месяцы двое трехсотых. Один из них связист, ну ты его знаешь. Заменить нечем. А у нас срочный вылет. Приказывать не могу. Прошу. С начальником узла связи договарюсь. Ну как, Андрей Николаевич?

Ну, слава Богу, хоть какое-то разнообразие. Все время быстрее пройдет. Он не верил, что с ним может что-то случиться.

– Я готов, товарищ капитан!

Вертушка высадила их на небольшой скалистой площадке на северном склоне одной из вершин тянувшегося почти параллельно границе хребта. На этой точке Андрей уже бывал. Серо-коричневые практически без растительности скалы, узкая, проложенная по скальным уступам тропа. Сначала пару километров вдоль склона, потом через узкую расщелину надо перейти на южную сторону. А там спуск в зарос-

шую кустарником долину, где им и предстоит просидеть как минимум три ночи и три дня, отслеживая обстановку и сообщая в штаб отряда обо всех ее изменениях.

Все бы ничего, но самое паршивое в горах – это ночи. Днем можно ходить в одном х/б, а ночью замерзаешь до соплей. При этом на выходы спальники старались не брать, лучше побольше боезапас. Обходились свитерами, теплыми подштанниками и шерстяными носками. И все равно, конечно, замерзали. Андрею ко всему прочему приходилось тащить почти пудовую, если считать с питанием, рацию, но он к этому привык еще с учебки.

Их было шесть человек вместе с Андреем. Командир, опытный старлей с позывным «Дерсу», уже два года топтавший хребты афганского Бадахшана, такой же бывалый прапорщик Егорыч, лицом и особенно усами один в один старшина Васьков из «Зори здесь тихие», и еще трое разведчиков. Группа шла гуськом на отдалении друг от друга. Сюрпризов можно было ждать откуда угодно. Те же последние «трехсотые» подорвались на хоженной-перехоженной тропе, до которой, казалось, духи никогда не доберутся. Андрея обычно оставляли прямо за расселиной, на небольшой закрытой со стороны долины большими валунами природной террасе. Если спускаться ниже, радиостанция могла до своих не достать.

– Десять минут перекур – скомандовал старлей. В реальности никто конечно не курил. На курение на выходах стро-

гий запрет, табачный дымок по ущелью несет далеко, а нюх у духов, как у собак. Старлей присел возле Андрея.

– Ты вот что, Карацупа, если что, ну сам понимаешь, если шум начнется, сразу давай нашим сигнал на эвакуацию. И уходи за расселину, на ту сторону.

«Дерсу» чуть помедлил. Видно было, что не хотел этого говорить вслух, но все же сказал. Сказал негромко, чтобы слышал только Андрей.

– Что-то предчувствие у меня недоброе. Так что не расслабляйся. Хотя тебя можно и не предупреждать.

Последним вниз уходил Егорыч. Он вдруг остановился, обернулся, достал из «лифчика» два магазина и протянул их Андрею.

– Держи, у тебя ведь с твоей бандурой много БП не унесешь. Ну, дай Бог, не пригодятся.

Похоже, у Егорыча тоже было ощущение, что что-то идет не так.

Андрей расстелил бушлат на нагретых за день камнях. Настроил рацию, достал из кармана потрепанную книжку. Тропа к расселине вела только одна, по ней ушли ребята, мимо них сюда никто не попадет, так что можно было расслабиться. Он почитал, потом подремал, потом просто лежал, плавая глазами в голубом бездонном афганском небе.

Казалось, что взрывы он почувствовал сначала телом, через содрогание скал, а лишь потом услышал звук. Сначала один, через пару секунд другой. За время службы он уже хо-

рошо научился различать звуки и выстрелов, и взрывов. Похоже, противопехотки. Он выглянул в просвет между валунами. Внизу, там, где тропа уходила в заросли кустарников, разросшихся вдоль небольшой горной речушки, медленно оседало мутное пыльное облако. Никакого движения не было видно, несколько мгновений в воздухе стояла напряженная тишина. И вдруг затрещали выстрелы.

– Не обмануло старлея предчувствие – мелькнуло в голове Андрея. Передать кодированное сообщение об эвакуации заняло несколько секунд. Он мог уже уходить назад в расселину, как приказал командир, но продолжал напряженно вглядываться в то место, тропа выходила из зарослей и поднималась вдоль скалы. Стрельба продолжалась. Короткие автоматные очереди перемежались одиночными винтовочными выстрелами и длинными пулеметными очередями. У них пулемета не было. Значит это духи. На тропе показались сразу четверо. Первый разведчик даже не отстреливался, потому что на его плече, безвольно свесив руки, лежал другой. Следом, припадая на одну ногу, периодически оборачиваясь и давая короткие очереди по зарослям двигался прапорщик. За ним, спиной к ходу движения, приседая за каждым выступом и ведя огонь по зарослям двигался еще один разведчик.

– А где старлей? Но внизу в кустах было слышно, как огрызается еще один автомат, потом несколько взрывов гранат и старлей появился у кромки зарослей. Он попытался перебежать до ближайшего валуна, несколько очередей смер-

тельной строчкой прошли по скале над самой его головой.

Старшина и передвигавшиеся ним разведчики уже прошли середину тропы, но тоже были на простреливаемом, почти незащищенном месте и ничем старлею помочь не могли.

Хорошо, что он взял подствольник. Андрей закрепил его на АК, по звуку примерно определил, откуда бьют духи и запустил туда подряд три ВОГа. А потом стал бить короткими очередями по зарослям, ориентируясь на звуки и на редкие, едва видимые сквозь кустарник, огоньки выстрелов.

Прапорщик с бойцами одолели уже две трети пути, но Андрею казалось, что они все двигаются все медленней и медленней. Хотя наверно, так оно и было. Старлей перебежками от камня к камню тоже постепенно поднимался все выше по тропе. Наконец, разведчики добрались до площадки, с которой вел огонь Андрей. Ранены были все. Тот, которого несли, был без сознания, у того, который его тащил, расплывалось темное пятно в районе поясницы. У третьего разведчика плетью висела правая рука. Прапорщик тяжело рухнул на камни, бедро его было перетянато жгутом, штанина пропитана кровью.

– Ждали они нас, ждали твари – задыхаясь, прохрипел Егорыч – Мины, а дальше засада.

– Он перевернулся на спину и заорал на залегших бойцов – Что разлеглись, салабоны? А ну быстро через расселину на ту сторону. Раненого к месту высадки. А ты – он обратился к бойцу с повисшей рукой – занимаешь позицию у выхода и

ждешь нас. ...

Прапорщик на мгновение замолчал и добавил – Нас или их... Стрелять сможешь?

– Смогу, Егорыч.

Парни исчезли в расселине.

– А ты, молодец, Карацупа – похвалил прапорщик – Во время ВОГами их.

Старлей уже преодолел половину пути. Андрей с Егорычем по очереди меняя магазины, отрезали от тропы выскакивающих из зарослей духов. Духов было не меньше двух десятков и часть перенесла огонь на них. Осколками камней посекло лицо, но Андрей этого не замечал, пока, утвердившись, не увидел на рукаве следы крови. Но было не до этого. Старлею оставался последний десяток метров.

– Давай, одновременно длинными – скомандовал прапорщик. Этих трех-пяти секунд, пока они опустошили рожки, старлею хватило, чтобы сделать рывок.

Стрельба на какое-то время затихла.

– Цел, командир?

– Цел, не достали, суки. SOS сыграл, Карацупа?

– Да, товарищ лейтенант. И прием подтвердили.

– Если сыграл, чего не ушел за расселину? Не выполнил приказ? – Андрей молчал, не зная, что ответить.

– Ладно, правильно сделал. Прикрыл вовремя. Парней то видел как посекло? Куда бы мы с ними.

– Ладушки. Значит так, остаемся вдвоем, Егорыч, как но-

га? Потом быстро побежим, отставать не будешь?

– Нормально, командир. Добегу.

– Карацупа, берешь свой инструмент и бегом. На той стороне ждете нас. В расселину они сунутся вряд ли, но будьте готовы.

Снизу раздалась очередь. Странный звук. Андрей не мог понять из чего стреляют, раньше он этого не слышал. Зато прапорщик со старлеем сразу все поняли.

– Гранатомет, сука... Американский... Ну теперь нас прижмут.

Старлей обернулся:

– Карацупа, твою мать! Ты еще зд....

Старлей не успел договорить, хотя и слова его Андрей читал уже только по губам. Духи прошлись из гранатомета по скале над ними, осколки то ли гранат, то ли скал ложились совсем рядом. Лейтенант вдруг замолк, осел и закрыл глаза.

Стрельба снизу усиливалась. Егорыч нащупал пульс на шее командира.

– Жив.

Он не дал сказать прапорщику ни слова.

– Егорыч, забирай старлея. Я прикрою – сквозь звуки выстрелов приходилось кричать.

– Не переживай, я молодой и быстрый, успею.

Опасаясь, что прапорщик его не понял, Андрей положил руку ему на плечо, потом показал на лейтенанта и в сторону расселины. Прапорщик его понял. Также по губам и корот-

ким обрывкам слов Андрей разобрал.

– Я вернусь. Держись.

Главное было держать вход на тропу. Чуть выше было несколько валунов под прикрытием которых и под огнем снизу духи могли подниматься вверх по тропе. Он бил короткими очередями, выпускал ВОГи, перекатывался от уступа к уступу, и, казалось, это длилось вечно.

Странно, успел подумать он. Ему ведь не пришлось принимать никакого сложного решения – уходить или остаться? Ведь он не разведка, ни спецназ, команда уходить была... Странно, но в голове его никакой дилеммы совсем не было. Нет, не в голове – в душе. Потому что нельзя не остаться, иначе «как потом жить ...?»

Андрей умер уже в отряде. Он был еще в сознании, когда Егорыч вдвоем с раненым в руку бойцом, вернулись за ним. Потом они держали расселину до самого прихода подмоги. Он был еще в сознании даже в вертолете и ему не давала покоя странная, нелепая мысль – «Как я скажу маме, что я умер?» И он не мог придумать как.

Домой гроб с телом Андрея вызвался сопровождать прапорщик Егорыч.

Глава 18. Лёва Гурович

То, что Лёва Гурович еврей, Фёдор узнал, вернее, понял, только в институте. Во время одной из небогатых студенческих попок, он что-то рассказывал из своей достуденческой жизни и упомянул Леву. Кто-то, он уже не помнил кто, услышав фамилию, сразу переспросил – «А что у вас там тоже еврей есть?» Тогда Фёдор даже не ответил. В детстве из тех, кто жил рядом, он знал только русских, немцев и татар. Немцев понятно почему, уж больно много их жило в городке, не заметить этого было нельзя. Слишком не похоже на другие звучали их фамилии – с Фёдором учились Толик Лауфер, Женька Шмидт, Ленка Майер, Эльвира Вальтер. На последнюю фамилию вообще никак нельзя было не обратить внимания – уж все марки немецкого и советского оружия пацаны знали наизусть. А у дяди Паши какое-то время даже был настоящий «Вальтер». Правда, как утверждал Славка, сын дяди Паши и двоюродный брат Фёдора, пистолет дядя Паша утопил в сортире, когда милиция стала изымать у фронтовиков еще имевшееся на руках привезенное с войны трофейное оружие.

Татар в городе тоже было много. Постепенно Фёдор научился их определять по заковыристым фамилиям и именам. В соседнем классе учился мальчишка по имени Зинатулла. Для всех пацанов такое имя считалось похожим на

женское и над ним все подшучивали – «Зина из Тулы». Подшучивали беззлобно, но недолго. Зинатулла и поначалу на такие шутки без раздумий бросался в драку, а после того как начал ходить на борьбу и пару раз бросил шутников «с прогибом», шутить перестали, тем более, что и раньше к Зинатулле в общем-то относились с уважением. А вообще, татары ассоциировались у Фёдора с веселой маминой заводской подружкой тетей Галей Рахматуллиной, настоящее имя которой было Галия, и которую мама ласково называла «моей татарочкой».

Отца Лёвы звали Абрам Маркович, но для Фёдора в этом имени тоже не было ничего особенного, ведь дед его, померший еще до войны, был Иван Абрамович, стало быть, прадед его тоже был Абрам, русский крестьянин Абрам.

Абрам Маркович, как и родители Фёдора и многие из их знакомых и соседей тоже работал на пороховом заводе, но работал на какой-то очень серьезной инженерной должности. Работяги относились к нему очень уважительно и за глаза называли по отчеству – Маркович. Он был невысокий, лысоватый и прихрамывал на одну ногу. На фронте он не был, на заводе работал после эвакуации с Украины, еще с 41-го года, человеком был очень скромным и спокойным, и многие были очень удивлены, когда на похоронах Марковича в конце 80-х за его гробом несли с десятков подушечек с орденами и медалями. Но для заводских ветеранов никакого удивления не было. Отец объяснил коротко – «Он пороха

изобретал».

После окончания школы по направлению от того же порохового завода Лёва поступил в Казанский химико-технологический институт и после его окончания даже успел поработать под руководством отца. Фёдор тоже закончил областной политех, там же в областном центре работал на заводе программистом и уже начал понемногу разбираться в том, что это за «еврейский вопрос», которого в его, в их детстве и в их городе, как им казалось, попросту не существовало. Нет, наверно, он все-таки был и там, но они о нем, как выражалась бабушка Настя, «слыхом не слыхивали».

На заводе Лёва поработал недолго. Где он потом работал и чем занимался, Фёдор не знал, пока не встретил Леву в пивном ресторане «Жигули», что недалеко от их студенческой общаги, куда он с бывшими однокурсниками и после окончания института разок в месяц по старой памяти заглядывал. Они сидели за любимым столом, отгороженным от зала деревянной решетчатой ширмой, когда кто-то со всей силы вдруг хлопнул Фёдора по плечу и заорал пьяным голосом – «Но пасаран, братан!». Лёва выглядел круто. В совершенно новых джинсах, в голубом батнике, уже тогда с толстой золотой цепью на шее, хотя до «крутых» 90-х еще пуд времени, и немножко смешной с черными чуть завивающимися жидкими прядями вокруг намечающейся плечи. Они обнялись. Очень хотелось посидеть, поговорить, но Леву дергали какие-то также модно одетые парни и девчонки, он был уже

изрядно пьян, и успел только сказать Фёдору:

– На рынке, в воскресенье на рынке... Найди меня...

Генка Белкин, общежитский меломан, в студенческие времена тративший всю стипендию и небольшой дворничий заработок на покупку на рынке пластинок «оттуда», и благодаря которому, вся общага была знакома с шедеврами «Смоуки», «Криденс», «Квин» и прочих, уважительно спросил:

–Федька, а ты что, с ним знаком?

– С кем?

– Ну вот с этим...

– Так это Лёвка Гурович, с нашего двора!

– Блин, да это же Лёва-Еврей, самый крутой фарцовщик с нашего рынка...

Они так больше и не встретились. Дальнейшие новости о Лёве Фёдор узнавал только через третьи руки.

После смерти Абрама Марковича Лёва вместе с мамой и сестрой перебрался в Израиль, на ПМЖ, на постоянное место жительства. Удивительным для Фёдора это уже не было. При всем притом, что по характеру Лёва парень был упертый, у него была одна черта, которую Фёдор понять никак не мог и долго не принимал. Главным авторитетом для Лёвы была мама Алла Борисовна, домашняя хозяйка, а отнюдь не отец. Ее слово было для Лёвы законом и выполнять его надо было тотчас и беспрекословно. Если Фёдор или другие па-

цаны на мамино «иди домой» могли поканючить или порой даже огрызнуться, для Лёвы это был беспрекословный приказ. Похоже, приказ о переезде в Израиль тоже отдала мама.

Сам Лёва никогда об Израиле не думал. Ему нравилось быть там, где он вырос. Ему нравилась их пацанская компания, родная уральская природа, леса и речки, он любил квас и пельмени, блины и пирожки с капустой, ему нравилось кататься с горок на лыжах на Ланинских полях, следить за кивком над замерзающей лункой в Камском затоне. С какой радостью он всегда возвращался из Казани на каникулы. А полтора месяца работы на бумовской лесобирже, куда они устроились вместе с Фёдором после третьего курса вообще привели его в полный восторг.

На юг Гуровичи ездили регулярно, всей семьей, если не каждый год, то через год. Абраму Марковичу в путевках никогда не отказывали. В отличие от общепринятых восторгов по поводу отдыха на морском побережье, Лёва приезжал домой всегда недовольный:

– Не выношу жару... Вода в море соленая... Народу толпы... Пацаны, поехали на великах на Боровицу, а?

А еще ему нравилась Ритка со смешной фамилией Буравкина, которая жила через квартал от их дома, училась на класс младше в их же школе и занималась легкой атлетикой. Он выходил в школу заранее, доходил до ее дома и ждал за углом, когда она выйдет, чтобы пойти вслед за ней. Сколько раз он собирался подойти поближе, как бы случайно увидеть

ее и спросить как бы так, между делом:

– О, я тебя часто вижу. Мы с тобой случаем не в одной школе учимся?

Несколько раз он специально ходил на стадион «Бумажник», когда там тренировались легкоатлеты. Небольшая горка, поросшая редким, но крупным сосняком, немного возвышалась над стадионом и оттуда он, прячась за сосновыми стволами, наблюдал как его Рита, да, однажды он поймал себя на том, что сказал про себя «моя Рита», грациозно преодолевает легкоатлетические барьеры.

А потом наступил день, когда она по дороге в школу обернулась, улыбнулась, улыбнулась так, что у Левы пересохло в горле и он забыл все свои заготовки, которые он придумывал для этого знакомства. Она улыбнулась и сказала:

– А я тебя знаю. Тебя Лёва зовут. Мне про тебя и вашу компанию Фёдор рассказывал. У нас с ним мамы подружки, в одной смене на заводе работают.

Потом жизнь пыталась их развести – сначала он уехал на учебу в Казань и приезжал только на каникулы, потом куда-то поступила она, пересекались они все реже и реже, но все равно ему казалось, что все это время он жил от встречи до встречи, и вся остальная жизнь – это только ожидание этих встреч. Они не думали, не рассуждали о будущем во время этих встреч, они жили настоящим, они наслаждались тем, что просто были рядом. И да, они не были пуританами, они любили друг друга и душой и телом.

Любили... Пока он не уехал в Израиль...

Глава 19. Лёва Гурович (2)

В Израиле Лёва затосковал. Он не любил Израиль от слова совсем. С деньгами у них было все более или менее в порядке. После смерти отца, последние несколько лет, большую часть того, что он «зарабатывал» на фарцовке он переводил в валюту и «брюлики» и ему удалось удачно переправить все в «страну обетованную». Фарцовщиком он, в общем-то, стал совершенно случайно. Однажды на каникулах приехал в гости к однокурснику в один из лесосплавных поселков и обнаружил в поселковом магазине кучу финских джинсовых костюмов, которые местная публика игнорировала и из-за цены и из-за непрактичности, предпочитая им спецовки, суконки и телогрейки. Лёва забрал все, деньги после стройотряда у него были, причем дал немножко сверху, чем навсегда завоевал благосклонность заведующей магазином. В Казани в институте и в областном центре на барахолке все костюмы у него что называется «оторвали с руками» и с тех пор Лёва повадился регулярно объезжать все сплавные рейды области и «закупаться» по полной. Свои каналы он никому не раскрывал и вскоре стал в областной фарцовке заметной фигурой под кличкой Лёва-Еврей. Ни разу не столкнувшись по жизни ни с каким предубеждением по поводу своей национальности, он никогда не обижался на эту кличку.

В Израиле они сняли в Хайфе небольшую квартиру с за-

лой и двумя комнатами. Сестра вскоре нашла себе какого-то местного аборигена, пузатенького и лысенького, но с деньгами, и съехала от них. Лёвина мама после нескольких бесплодных попыток пристроить Лёву за какой-нибудь «надежной» женщиной, тоже обязательно из местных, «русские» ей не нравились напрочь, что называется «опустила руки», и пристрастилась проводить дни в одном из прибрежных кафе с такими же русско-еврейскими дамами, сойдясь с ними на почве одинаково негативных мнений как по поводу бывшего Союза, так и по поводу местных властей.

Попытки изучения иврита Лёва забросил через месяц посещения улыпана. Он поймал себя на том, что после занятий он снова погружался в русскоязычную среду – он заходил в «русский» магазин, пил кофе в «русском» кафе, перебрался словами с русскоязычными соседями. И напрочь забывал все, что несколько часов назад учил на занятиях. Его диплом инженера-химика оказался здесь никчемной бумажкой. Не из необходимости, а от нечего делать, он устроился охранником в Хайфском порту, где его начальником оказался бывший оперуполномоченный угро из Херсона, а напарниками одессит и бывший бухгалтер из Грузии.

Лёва не любил эту жару, эти длинные пляжи, и, также как когда-то теплое пиво, он ненавидел это вечно теплое море. За первый год пребывания он искупался в море всего два раза – в январе и феврале, когда море было 18 градусов. Он обошел все заведения города, где делали как бы «рус-

ские» или, скорее, псевдорусские пельмени, но так и не нашел пельменей по душе. Он искал эти настоящие пельмени без особой надежды, он знал, что в настоящих пельменях говядина, какая бы она не была, кошерная, не кошерная, должна быть со свиной, а фарш, вопреки еврейским религиозным канонам, должен разводиться молоком. Это все им рассказывала мама Фёдора, пельмени которой он считал самыми вкусными на свете.

Да, он не любил Израиль. Он не понимал, зачем он здесь. Душа его была там. Но так хотела мама.

Обычно он возвращался из порта домой на автобусе. Пешком идти было долго и потно. Все сидячие места в автобусе были заняты, впрочем, обычно Лёва пристраивался у открытого окна в конце салона, так ветер хоть немного обдувал обожженную за день открытую кожу лица и шеи. Вот и в этот раз он прошел на заднюю площадку.

Всю последнюю неделю голова его была занята только одним. Ему пришло письмо из России, от Фёдора. В письме была фотография Риты Буравкиной и маленького, года два от силы, мальчонки, который был почти копией мамы, то есть Риты, но при этом чернявенький, тогда как Рита совершенно светлорусой. Фёдор написал о них совсем немного, что Рита с сыном живет там же, родители оставили ей квартиру, переехав, кажется, в бабушкину. Но самое главное, о Рите деликатный Фёдор написал простым карандашом ниже строк ос-

новного письма. Лёва прекрасно его понял и стер эти строки сразу после прочтения. Конечно же, мама все равно найдет это письмо, но то, что она не должна знать, она не узнает.

На обороте фото Фёдор написал – «Мальца зовут Миша». «Михаил Львович! – как красиво звучит» – сразу возникло в Лёвиной голове. Фото Лёва заламинировал и постоянно носил с собой. В жарком и влажном климате «земли обетованной» рубашки приходилось менять часто и у него уже выработался ритуал – первым делом он перекладывал в карман фото, страшно опасаясь, чтобы оно случайно не попало в стирку, ну и конечно, чтобы его не увидела мама. Иначе это скандал, а может быть даже и сердечный приступ, пусть и быстропроходящий, но все же.

Он так еще и не научился различать евреев и арабов по внешности и, если детали одежды не выдавали национальную принадлежность, мог легко ошибиться. Что и случилось с ним не один раз. В Хайфе молодежь, и еврейская и арабская, в большинстве своем одевалась по-европейски и несколько раз, когда он, собрав весь свой небогатый словесный запас на иврите, пытался с кем-то заговорить, он получал в ответ порцию громкой и отборной брани на арабском. Конечно, с опытом таких ошибок становилось все меньше.

Но, тем не менее, вот и в этот раз, взглянув на молодого, одетого в джинсы и футболку навывпуск парня, стоявшего у заднего окна автобуса, Лёва опять не смог сходу определить – это его соплеменник или араб?

Лёва мучился уже вторую неделю. С одной стороны, как только он получил письмо, он сразу решил, что едет в Россию, даже успел добежать до ближайших авиакасс. Что-то остановило его у самых дверей. Он вдруг вспомнил свой разговор, тогда еще прыщавого подростка, озабоченного глобальными этическими проблемами определения добра и зла, правды и лжи, совести и бесчестия, с отцом, когда он спросил:

– Папа, а есть что-то в жизни, что ты сделал, но никогда не сможешь себе простить?

– Да! – вдруг ответил отец.

Если честно, такого ответа Лёва не ожидал.

– Да – ответил отец – Я никогда не прощу себе, что оставил маму в оккупации.

Тогда на этом их разговор закончился. Только уже в дверях Лёвиной комнаты отец обернулся и добавил:

– Никогда не оставляй маму! Никогда!

Народу в автобусе было немного. Кто-то ехал с работы, но большинство была праздная публика, кто-то с пляжа, кто-то с променада по набережной. На заднем сидении автобуса, спиной по ходу движения, сидела молодая мама с сыном, мальчишкой лет двух-трех. Лёва сразу обратил на него внимание, потому что мама была явно славянской внешности, а мальчишка был очень похож на его «Михаил Львовича». Малыш плющил нос о стекло и не переставая болтал на странной смеси слов на русском и на иврите, приправленной непо-

нятностью детского произношения.

Лёва не знал, как ему поступить. Одна, бóльшая, заметно бóльшая половина его души рвалась в Россию, а в другой, пусть и меньшей половине набатом звучало – «Никогда не оставляй маму...!» И в голове Лёвы возникала грустная картина, в которой мама сидела у окна их хайфской квартиры и смотрела застывшим взглядом на глухую серую стену соседнего дома...

Его сосед по автобусу почему-то беспокоил его все больше и больше. Под футболкой на поясе у него что-то достаточно заметно оттопыривалось. «Просто поясная сумка, такие сейчас в моде» – Лёва вдруг поймал себя на том, что он пытается погасить в себе какую-то смутную тревогу, которую вызывал в нём этот, казалось бы, обычный с виду еврейский подросток. Или арабский?

Конечно, им постоянно и на работе и по телевидению объясняли, как отличить террориста от обыкновенного обывателя, но Лёва, глубоко убежденный в том, что на его пути террористы никогда не встретятся, как-то умудрялся все эти инструкции пропускать мимо ушей. Из всех объяснений он запомнил только – «Аллаху Акбар!» Полицейский офицер говорил, что все террористы перед тем, как привести в действие взрывное устройство или начать стрелять кричат «Аллаху Акбар!»

Ну да Бог с ним. Едет парень и едет. Какой он террорист? Нет, он все равно полетит в Россию. Мама должна понять.

Она всегда понимала его, так ему казалось. Она умная и добрая. И наконец, когда-то он должен решать за себя сам. Ему казалось, что с каждым днем он все больше утверждает себя в этих своих намерениях, но все же назначить для себя конкретную дату разговора с мамой он не решался.

И все же полностью изгнать из головы беспокоящие мысли о попутчике у него не получалось. Боковым зрением он заметил, что парень, отвернувшись к окну, ковыряется в своей поясной сумке. Руки его дрожали. И вдруг Лёва обратил внимание на его губы. Он что-то шептал. Все мысли из головы ушли. Весь Лёвин мозг напряженно решал одну единственную задачу – «Что он шепчет этот парень?» Мозг перебирал все те знакомые, и уже заученные, а некоторые уже забытые слова на этом несчастном, замучившем его иврите, и не мог подобрать ничего, чтобы соответствовало этим повторяющимся движениям пухлых юношеских губ. И вдруг Лёва понял – это не иврит. Парень шептал – «Аллаху Акбар... Аллаху Акбар...»

Время вдруг резко замедлилось. Лёва успел обвести глазами весь салон. Автобус жил своей обычной жизнью, кто-то дремал, кто-то устало смотрел в окно, осоловев от жары, кто-то вел громкие разговоры, перебивая друг друга... Непоседа мальчишка, похожий на «Михаила Львовича», тянул маму за рукав, показывая пальцем на что-то очень интересное за окном.

«Аллаху Акбар» прозвучало уже громко, но у Лёвы было ощущение, что за автобусным шумом это слышит только он один. Парень поднял обе руки, в одной из них была граната, на пальце другой сверкнула металлическим блеском чека. «Задержка – 3-4 секунды...» – оказывается он что-то помнит из школьной НВП – Успею...». Он сбил парня с ног, успел сунуть гранату под него и сам всем телом упал сверху.

Нет, сразу он не умер. Когда его выносили из автобуса, он еще успел увидеть заплаканного, обхватившего изо всех сил колени матери, «Михаил Львовича»... Живы...

Он жил еще два дня, изредка приходя в сознание. Он понимал, что умирает, с этим он уже смирился, но в эти редкие проблески ему вдруг пришла мысль, что он хочет, чтобы его похоронили в России. Но он видел постаревшую сразу лет на десять мать и не стал ей говорить об этом своем желании. Он вспомнил отца – «Никогда не оставляй маму! Никогда!» Лёва был настоящим еврейским сыном. Хотя он и не был военным, его похоронили на военном кладбище Хайфы, совсем недалеко от их дома. Мама могла приходить в Лёве каждый день.

Глава 20. Командировка.

Война в Чечне шла уже третий месяц. Эта командировка для их управления была первой. Из Москвы, из грозного подразделения с названием УСО (Управление специальных операций) прилетел усталый подполковник с красными от недосыпа глазами. От их внештатной антитеррористической группы нужно было набрать пять человек. Время на сборы два дня. Фёдора вычеркнули сразу, он был в группе самым старшим по возрасту, к тому же администратор базы данных управления.

Он засиделся за работой допоздна и перед отъездом домой решил заглянуть в оружейку – как там у ребят идут сборы. Усошник сидел в оружейке вместе с парнями. Все, похоже, уже понемногу приняли.

– Разрешите, товарищ подполковник?

– Ты кто?

– Тоже член группы. Вот решил узнать, как сборы идут.

Может чем помочь?

– Помочь? Можно и помочь. Ты кто по званию и по должности?

– Майор, старший оперуполномоченный информационно-аналитического отдела.

– Ну что ж, аналитики нам пригодятся. Такая ситуация, майор. Один из ваших бойцов срочно заболел. Другие уже

вне связи. Почему-то... А мне нужно набрать пять человек. Понял, к чему клоню?

Ну вот, Фёдор, и твоя очередь встать. Встать и шагнуть вперед. Они же встали и шагнули... Толька... Андрей... Лева... А если не встать, то как потом жить ...

– Я готов, товарищ подполковник

Жене Фёдор сказал, что командировка в Москву в информационно-аналитическое управление, возможно на несколько недель. Такое уже бывало. Он чуть не выдал себя, когда утром зашел в детскую и несколько минут стоял на кроватках дочери и сына. А может она все поняла, но не подала виду.

В Моздок рейсом из Чкаловского прилетели довольно поздно, уже смеркалось. Из зимы они прилетели не поймешь во что – не весна, не осень. Воздух на аэродроме был тёплым и очень сырым, дождя не было, но, казалось, бушлат прямо из воздуха наливается влагой и тяжелеет прямо на ходу. Пахло соляркой, какой-то гарью и ещё чем-то непонятным. Здесь следы войны были видны уже повсюду. В стороне от взлетной полосы стояли неровными рядами искореженные и закопченные вертолеты, недалеко от них грудой были свалены разных размеров пустые ящики из-под боеприпасов, чуть дальше под брезентом угадывались такие же ящики, но, похоже, еще полные.

В Моздоке ночевали в каком-то ветхом дощатом аэро-

дромном бараке. Долго не могли заснуть. Допили последний коньяк, что прихватили из Москвы. Самый молодой и самый эмоциональный из них, коми-пермяк Серега, под воздействием коньячных паров, пытался произнести какую-то сумбурную пафосную речь о долге и подвигах.

– Подвиги, юноша, это для гусар – никто не ожидал от немногословного и самого возрастного из их группы, Васильича, заместителя командира, ни такого обращения – «юноша», ни такой речи. Невысокий, жилистый, с грубоватыми чертами лица, Васильич производил впечатление обычного заводского работяги. Но, как потом рассказали служившие с ним москвичи, Васильич прошел Афган, затем попал еще в самый первый призыв группы «Вымпел», имел кучу наград, знал три языка и оставался до сих пор майором только из-за своего неуживчивого со вздорным начальством характера.

– Да, юноша, подвиги – это для гусар – продолжил Васильич, – А война – это работа. Тяжелая, грязная, потная работа. Про кровь я и не говорю. И выигрывают войну мужики...

Про грязь Васильич сказал в самую точку. Грязь – это было самое первое и самое острое ощущение от войны, оставшееся в памяти Фёдора, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Скользящий слой грязи на аэродромной бетонке в Моздоке, грязь по всей территории аэропорта Северный, где они базировались, грязь на всех дорогах Грозного, и на разрушенных улицах и во дворах, по которым всеразрушающим катком прокатились ожесточенные бои, и среди тех небольших

островков городских строений, которые война пока пощадила. Грязью, как будто дополнительным слоем специального камуфляжа, были покрыты БТРы, на которых они выезжали на задания. Килограммы, а может даже пуды грязи на бercaх они привозили с каждого выезда.

Они встали с рассветом, быстро загрузились в потрепанный МИ-8, со следами пулевых отверстий в обшивке. Командир вертолета вышел в десантный отсек.

– Так, бойцы, броники сразу на себя, магазины полные, в случае вынужденной сразу рассыпаемся, занимаем круговую.

Странное ощущение осталось у Федора от этого полета. Ему вдруг вспомнилась поездка на поезде к тете Нине в Астрахань. Можно было уткнуться лицом в стекло и наблюдать, как за окном быстро мелькают придорожные деревья. Точно также и сейчас – Федор уткнулся в иллюминатор, за стеклом которого почти на уровне его глаз мелькали верхушки раздетых зимних деревьев. Казалось, вертолет вот-вот заденет эти верхушки своими шасси, но машина как будто лодка на воде плавно лавировала между этими верхушками. Чувствовалась уверенная рука пилота.

За шумом винтов он не услышал, только увидел, как сверкая белыми хвостами разлетаются в стороны тепловые ловушки. Неожиданно вертолет взмыл над скалистым пригорком и, казалось, провалился вниз. Парни охнули, а Федору такие ощущения были не впервой, студентом он часто ле-

тал домой и из дома на кукурузнике Ан-2. Там воздушные ямы были в порядке вещей. Огромное поле аэродрома Северный представляло странное зрелище. Его летное поле, засыпанное парашютиками сигнальных ракет, напоминало шкуру огромного серого животного со множеством маленьких белых крапин.

Как только вертолет заглушил двигатель, они слышали город. Город хрипел отдаленными звуками автоматных очередей, кашлял нечастыми выстрелами орудий и выдыхал яркие вспышки выстрелов и следом то черный, то белый или серый плотный дым от разрывов мин и снарядов. Далеко на горизонте, так далеко, что их не было слышно, над городом накручивала круги пара вертолетов, тоже раскидывая по сторонам трассеры тепловых ловушек и время от время посылая на землю плевки НУРСов.

– Вам повезло, сегодня уже тихо. Дней пять назад был швах. По пять рейсов с ранеными за день делали – вертолетчик высунулся из окна кабины.

– Добро пожаловать на войну! И удачи вам, парни! – вертолет уже снова медленно раскручивал лопасти.

Они прибыли на войну. На войну, которой, как они с пацанами считали, по крайней мере, так они считали лет тридцать назад, больше быть не должно. Просто по определению – не должно. А она пришла.

Два месяца они работали на войне. Им повезло. За всю командировку из группы никого ни разу не ранило. Были кон-

тузии и те несерьезные. Физически Фёдор переносил все легко, но на душе было тяжело. На выездах он вглядывался в разрушенный город и понимал, что он уже видел это в документальных хрониках о Сталинградской битве или о штурме Берлина и Кенигсберга, в хрониках о той другой войне, которая всегда и подразумевалась под этим словом, когда просто говорили «война». Он видел пустые глаза стариков, одиноко бродивших по городским развалинам, и русских и чеченцев, глаза голодных детей и измученных женщин, которые прятались в подвалах разрушенных многоэтажек. Они набивали БТР сухпайками, консервами и мешками с пересушенными армейскими сухарями и на каждый выезд в город строили маршрут через эти многоэтажки. И каждый вечер, устраиваясь спать на носилках, служивших им кроватями, он долго лежал и думал:

– Как же так случилось и почему? Ведь так не должно быть. У всех людей, а у детей и стариков, тем более, должны быть кусок хлеба и крыша над головой. У детей должны быть отец и мать, а старики должны умирать своей смертью и их должны хоронить их дети, а не наоборот. Разве мало было той войны, чтобы понять, что такое больше повторяться не должно. И от всех этих мыслей его здоровое спортивное сердце, казалось, ныло непрестанно, потому что все эти картины были перед глазами каждый день.

А ведь все верили, что подобного больше не будет. И они с пацанами верили. Конечно, им все равно хотелось прове-

рять, почувствовать – смогли бы они «под танки...», но в душе они все понимали, глядя на взрослых, переживших ту войну, которую они считали последней, что нет ничего, чтобы могло бы оправдать все то горе, которое она принесла.

Да, им повезло. Они вернулись все живыми, хотя и другими. И, даже, в общем-то, здоровыми. Хотя, москвич Костя, внук известного летчика-испытателя, и Васильич, прошедшие потом еще не одну такую командировку, несколько лет спустя ушли совсем не от последствий боевых ранений, а от банальной остановки сердца.

Но тогда все они вернулись живыми. Они не совершили каких-то подвигов, но они честно сделали ту работу, которая была возложена на них.

Эпилог

Детский сад, в который ходила Маришка, располагался в здании старой, дореволюционной постройки, часовни, на углу главного городского проспекта. Своего двора у садика не было, и гулять детишек выводили прямо на аллею посреди проспекта. Фёдор не собирался забирать дочь из садика без жены, он встал за углом ближайшего дома и просто наблюдал. Был конец марта, небо было ясное, солнышко пригревало. И по проезжей части и по аллее уже бежали маленькие ручейки. И детишки, и воробьи галдели так, как будто соревновались, кто кого перекричит. Маришку в яркой розовой курточке, купленной осенью на китайском рынке, было видно издалека. Она как всегда верховодила. Малышня по очереди забиралась на спинку засыпанных снегом старых скамеек и по ее команде прыгала вниз.

Он простоял так с полчаса, потом пошел на работу к жене. Она не знала о том, что они прилетели, но как будто уже ждала его. Он не успел открыть дверь их кабинета даже наполовину, коридор был глухой, темный, его не должно было быть хорошо видно в проеме, но она среагировала уже на дверной скрип, выронила прямо на пол кипу папок и побежала ему навстречу. Обнявшись, они долго молча стояли в темном укромном закутке под пролетом лестницы на второй этаж. Он не помнил, когда плакал последний раз, может на

похоронах у Тяти, а может у бабушки Насти. Он и сейчас не плакал, но слезы текли само собой.

– Они думают, что ты в командировке... А в этом виде, еще и с бородой наверно, догадаются... По крайней мере, Сережа.

Сережа догадался. Когда его встретили на выходе из школьного двора, он старался казаться невозмутимым, все-таки уже третьеклассник:

– Привет, пап! Длинная же у тебя командировка!

– Привет, сын! Ну что поделаешь – служба...

И только когда мама чуть отошла переговорить с кем-то из родителей, он вдруг вцепился в руку Фёдора, потянул ее вниз, и, когда Фёдор наклонился к нему, шёпотом спросил:

– Пап, ты ведь на войне был, да...?

Фёдор приобнял сына:

– Только давай никому об этом не говорить. Ты, я и мама... Хорошо?

– И Маришке?

– И ей...

Вопреки его ожиданиям, несмотря на бороду, Маришка узнала его издалека. Она рванула к нему навстречу, поскользнулась и упала на живот прямо на тротуар, покрытый грязным слоем раскисшего мартовского снега, испачкав свою яркую розовую куртку. Хотела заплакать, но передумала, и мгновение спустя уже забралась к нему руки и обхватив

его за шею радостно оповещала всех вокруг:

– Папа приехал! Папа приехал!

– Мариш, ты скучала хоть немного?

– Знаешь, как я скучала? Я так скучала, так скучала...

Она вдруг наклонилась к его уху:

– Я даже плакала без тебя... Ночью...

Вечером они ели их фирменную семейную капустную пиццу, а потом играли теннисным мячиком в стенку в полупустой большой комнате. Ведь они переехали в эту квартиру всего недели за две до командировки. Сердце не ныло, ему было хорошо и спокойно.

Ночью он несколько раз вставал, смотрел в темное окно вверх верхушек сосен на светящийся в отдалении город и несколько раз ловил себя на мысли – почему не видно осветительных ракет? Блокпосты должны ночью пускать осветительные ракеты! Ночью ведь духам в городе раздолье...

Потом он шел в комнату к детям, слушал их сопенье, вдыхал их запах...

Пацаны... Толька, Андрюха, Лёва... Вы должны видеть оттуда – ведь он не струсил, не спрятался, не сбежал... Но, он должен был вернуться живым. Вот из-за этих, теплых и сопящих...

Он был уверен, что пацаны его поймут.

А сон, в котором он встречал их по дороге в Пузаны, стал сниться ему много позже, когда сын и дочь уже стали взрослыми. И только до Тяти во сне он никак не мог пройти. Зна-

чит еще не срок...